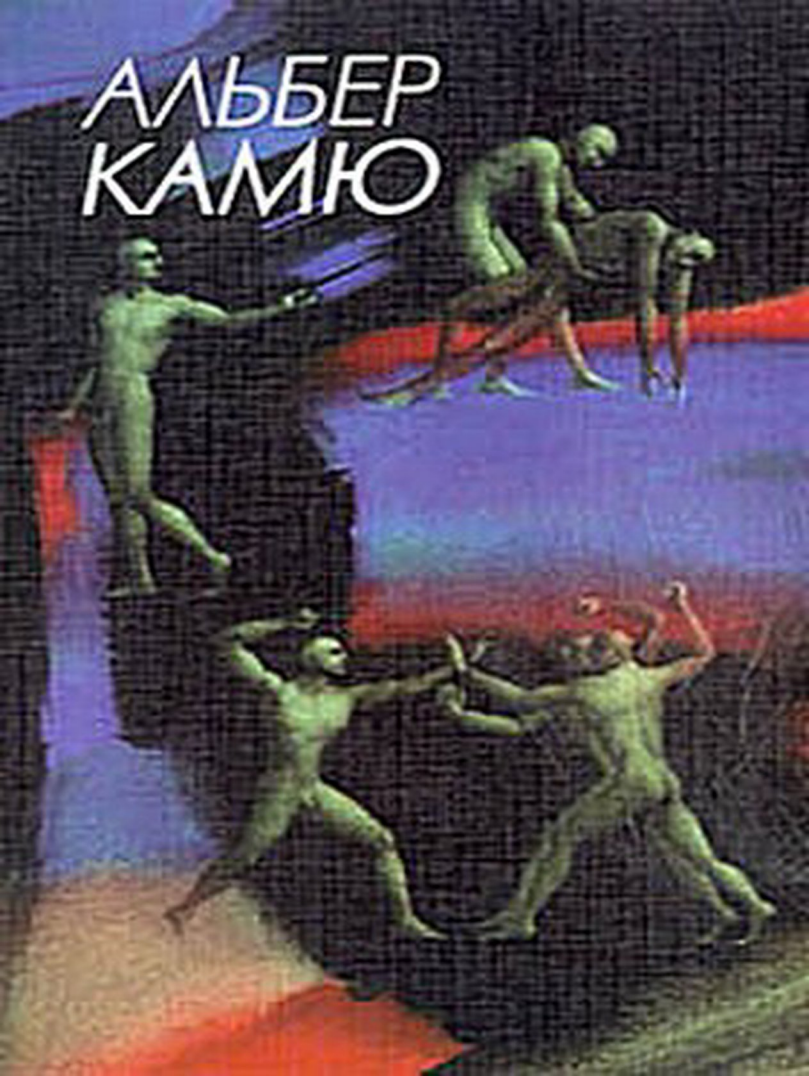
АЛЬБЕР КАМЮ



Падение
Альбер Камю

Аннотация
Альбер Камю. * * * *. Падение

Аннотация

«Падение» — произведение позднего Камю, отразившее существенные особенности его творческой эволюции. Повесть представляет собой исповедь «ложного пророка», человека умного, но бесчестного, пытающегося собственный нравственный проступок оправдать всеобщей, по его убеждению, низостью и порочностью. Его главная забота — оправдать себя, а главное качество, неспособность любить. В «Падении» Камю учиняет расправу над собственным мировоззрением.

Впервые на русском языке повесть опубликована в 1969 году в журнале «Новый мир»

Альбер Камю

* * * *

Падение

Надеюсь, вы не сочтете навязчивостью, если я предложу помочь вам? Боюсь, иначе вы не столкуетесь с почтенным гориллой, ведающим судьбами сего заведения. Ведь он говорит только по-голландски. И если вы не разрешите мне выступить в защиту ваших интересов, он не догадается, что вам угодно выпить джину. Ну вот, кажется, он понял меня: эти кивки головой должны означать, что мои аргументы убедили его. Видите, повернулся и пошел за бутылкой, даже поспешает с разумной степенностью. Вам повезло: он не зарычал. Если он отвергает заказ, то ему достаточно зарычать — никто не посмеет настаивать. Считаться только со своим настроением — это привилегия крупных зверей. Разрешите откланяться, очень рад был оказать вам услугу. Благодарю вас, благодарю. С удовольствием бы принял приглашение, но не хочу надоедать. Вы чересчур добры. Так я поставлю свой стаканчик рядом с вашим?

Вы правы, его безмолвие ошеломляет. Оно подобно молчанию, царящему в девственных лесах, — молчанию грозному, как пушка, заряженная до самого жерла. Порой я удивляюсь, что наш молчаливый друг так упорно пренебрегает языками цивилизованных стран. Ведь его ремес-

ло состоит в том, чтобы принимать моряков всех национальностей в этом амстердамском баре, который он, неизвестно почему, назвал «Мехико-Сити». При таких обязанностях его невежество весьма неудобно, как вы полагаете? Вообразите себе, что первобытный человек попал в Вавилонскую башню и вынужден жить там. Ведь он страдал бы: кругом все чужие. Но этот кабатчик нисколько не чувствует себя изгнанником, идет своей дорожкой, его ничем не проймешь. Одной из немногих фраз, которая сорвалась при мне с его уст, он провозгласил следующее положение: «Хочешь — соглашайся, а не то к черту убирайся». С кем следовало соглашаться, кому к черту убираться? Несомненно, наш друг имел в виду самого себя. Признаюсь, меня привлекают столь цельные натуры. Когда по обязанностям своей профессии или по призванию много размышляешь о сущности человеческой, случается испытывать тоску по приматам. У них по крайней мере нет задних мыслей.

У нашего хозяина, по правде сказать, есть кое-какие задние мысли, но очень смутные.

Поскольку он не понимает того, что говорится вокруг, у него в характере развилась недоверчивость. Поэтому он и держится с угрюмой

важностью, словно возымел наконец подозрение, что не все идет гладко в человеческом обществе. При такой его настроенности довольно трудно заводить с ним разговоры, не касающиеся его ремесла. А вот посмотрите на заднюю стену — видите, прямо над головой хозяина на обоях менее выцветший прямоугольник, как будто там прежде висела картина. И действительно, там была картина, и притом замечательная, настоящий шедевр. Так вот я присутствовал при том, как наш кабатчик приобрел ее и на моих же глазах продал. В обоих случаях он проявил одинаковую недоверчивость: несколько недель обдумывал сделку. В этом отношении жизнь в человеческом обществе, надо признать, несколько испортила первоначальную простоту его натуры.

Заметьте, что я не осуждаю этого человека. Я готов уважать вполне обоснованную его недоверчивость и охотно разделял бы ее, если б этому не мешала моя природная общительность. Увы! Я болтун и очень легко схожусь с людьми. Хоть я умею соблюдать должное расстояние, для меня хороши все поводы к знакомству. Когда я жил во Франции, то, стоило мне встретить умного человека, я тотчас же начинал искать его общества. Я вижу, вас удивило это старомодное выражение.

Признаюсь, у меня слабость к таким оборотам речи и вообще ко всему возвышенному. Слабость! Сам себя корю за нее, поверьте! Я же прекрасно знаю, что склонность человека к тонкому белью вовсе не говорит о его привычке мыть ноги. Право, изящный стиль подобен шелковому полотну, зачастую прикрывающему экзему. В утешение себе говорю, что и косноязычные не чище нашего брата, краснобаев. О, конечно, я не откажусь от второго стаканчика.

Вы долго предполагаете пробыть в Амстердаме? Красивый город, не правда ли? Волшебный! Вот прилагательное, которого я не слышал уже много лет — с тех пор как расстался с Парижем. Но у сердца крепкая память, и я не позабыл нашу прекрасную столицу, не позабыл набережных Сены. Париж — сущая фантасмагория, великолепные декорации, в которых движутся четыре миллиона марионеток. Даже около пяти миллионов, по последней переписи. И ведь они плодятся и множатся. Что ж тут удивительного? Мне всегда казалось, что у наших сограждан две ярые страсти: мыслить и блудить. Напропалую, как говорится. Не будем, однако, осуждать их за это — не одни они распутничают, вся Европа блудит. Иной раз я думаю, а что скажет о нас будущий

историк? Для характеристики современного человека ему будет достаточно одной фразы: «Он блудил и читал газеты». Этим кратким определением тема, смею сказать, будет исчерпана.

Голландцы? О нет, они куда менее современны! Но они еще успеют, они наверстают. Посмотрите-ка на них! Чем они занимаются? Все эти господа живут на заработки своих дам. Впрочем, все они, и мужчины и женщины, весьма буржуазны и приходят сюда обычно из почтения к легендам, сложившимся о них, или по глупости. От избытка или от недостатка воображения. Время от времени сутенеры тут устраивают поножовщину или перестрелку, но не думайте, что они кровожадны. Роль этого требует, вот и все; они умирают от страха, выпуская последние пули. И все же я считаю их людьми более нравственными, чем те, кто убивает, так сказать, по-семейному, берет измором. Замечали вы, что современное общество прекрасно организовано для такого рода уничтожения? Вы, разумеется, слышали о тех крошечных рыбках, которые водятся в реках Бразилии: они тысячами нападают на неосторожного пловца, в несколько секунд быстрыми жадными глотками пожирают его, остается лишь безукоризненно обглоданный, чистенький ске-

лет. «Желаете вы иметь личную жизнь? Как все люди?» Вы, разумеется, говорите: «Да». Как же это сказать: «Нет»? Согласны? Сейчас вас и обглодают: вот вам профессия, семья, организованный досуг. И острые зубки вонзаются в ваше тело до самых костей. Но я несправедлив. Не о хищниках надо говорить. В конце концов у нас самих так устроено: кто кого обглодает.

Ну вот, принесли нам наконец джин. За ваше здоровье! Смотрите-ка, горилла разомкнул уста и назвал меня доктором. В этой стране все доктора или профессора. Здесь любят почитать людей — по доброте или из скромности. У голландцев по крайней мере злопыхательство не стало национальной чертой. А я, кстати сказать, вовсе не доктор. Если угодно знать, я до того, как приехал сюда, был адвокатом. Теперь я судья на покаянии.

Позвольте представиться: Жан-Батист Кламанс, к вашим услугам. Очень рад знакомству. Вы, вероятно, посвятили себя коммерции? Более или менее? Превосходный ответ! И совершенно правильный. У нас всегда и все «более или менее». Ну вот, разрешите мне разыграть роль сыщика. Вы приблизительно моего возраста, у вас взгляд искушенного сорокалетнего человека, видавшего

виды, вы более или менее элегантно одеты, как одеваются во Франции, и у вас гладкие руки. Итак, вы более или менее буржуа! Но буржуа утонченный. Заметить старомодный оборот речи — это, несомненно, показывает, что вы человек образованный, ибо вы не только замечаете вычурность, но она и раздражает вас. Наконец, я, по-видимому, занимаю вас, а это, скажу без хвастовства, говорит о широте вашего кругозора. Итак, вы более или менее… Но это неважно. Профессии меня интересуют меньше, чем секты. Разрешите задать вам два вопроса, но ответьте на них в том случае, если не сочтете их нескромными. Были вы богаты? Более или менее? Прекрасно. Делились вы богатством с неимущими? Нет? Значит, вы из тех, кого я называю саддукеями.[1] Вы не следовали заветам Священного писания, но, полагаю, от этого не очень много выиграли. Выиграли? Так вы, стало быть, знаете Священное писание? Право, вы меня интересуете.

Что касается меня… Ну что ж, судите сами.

Ростом, шириной плеч и лицом, о котором мне часто говорили, будто оно свирепое, я больше

---

[1] Примечания: 1

Саддукеи — одна из политических и религиозных группировок в Иудее (II в. до н. э. — I в. н. э.), противостоящая фарисеям; объединяла высших жрецов, земледельческую и служилую знать.

похожу на игрока в регби, не правда ли? Но если судить по разговору, придется признать во мне некоторую изысканность. Пальто на мне жиденькое (должно быть, верблюд, с которого настригли шерсть для сукна, страдал паршой и совсем облысел), зато у меня холеные ногти. Я, как и вы, человек многоопытный, но все же доверяюсь вам без всяких предосторожностей, всецело полагаясь на ваше лицо. Словом, несмотря на хорошие манеры и культурную речь, я завсегдатай матросских баров в здешнем порту. Больше не допытывайтесь. У меня двойная профессия, вот и все, так же как и моя натура. Я ведь уже сказал вам, что я судья на покаянии. В моей истории только одно является простым: у меня ничего нет. Да, я был богат и не делился с ближними. Что это доказывает? То, что я тоже был саддукеем… Ого! Слышите, как воют сирены в порту? Будет нынче туманище на Зейдерзе![2]

Вы уже уходите? Это я, наверно, задержал вас. Извините, пожалуйста. Нет уж, разрешите, платить буду я. Вы мой гость в этом «Мехико-Сити», и я очень рад, что могу вас принять. Конечно, завтра я буду опять тут, так же как всегда по вечерам,

---

[2] Примечания: 2

Зёйдерзе — залив Северного моря у берегов Нидерландов, образовавшийся в результате наводнения.

и с благодарностью приму ваше приглашение. Как вам найти отсюда дорогу?.. Ну что ж, если вы не считаете это неудобным, проще всего будет, если я провожу вас до порта. А оттуда, обогнув Еврейский квартал, вы без труда попадете на прекрасные проспекты, по которым бегут сейчас вагоны трамваев, нагруженные цветами и громыхающими оркестрами. Ваша гостиница на одном из этих проспектов, именуемом Дамрак. Пожалуйста, проходите первым, прошу вас. Я-то живу в Еврейском квартале, как он назывался до тех пор, пока господа гитлеровцы не расчистили его. Вот уж постарались! Семьдесят пять тысяч евреев отправили в концлагеря или сразу же убили. Подмели под метелку. Как не восхищаться таким усердием и терпеливой методичностью? Если у человека нет характера, он должен выработать в себе хотя бы методичность. Здесь она, бесспорно, сделала чудеса, и я живу в тех местах, где совершены величайшие в истории преступления. Быть может, это как раз и помогает мне понять гориллу и его недоверчивость. Я могу таким образом бороться со своей природной склонностью, неодолимо влекущей меня к людям. Теперь, когда я вижу новое лицо, кто-то во мне бьет тревогу: «Потише! Легче на поворотах! Опасно!» Даже

когда у меня возникает очень сильная симпатия к человеку, я держусь настороже.

А знаете вы, что на моей родине, в маленькой деревеньке, во время карательной экспедиции немецкий офицер очень вежливо предложил старухе матери самой выбрать, которого из двух ее сыновей расстрелять в качестве заложника. Выбрать! Представляете себе? Вот этого? Нет, вон того. И смотреть, как его уводят. Не будем углублять вопрос, но поверьте, сударь, все неожиданности возможны. Я знал человека, который сердцем отвергал недоверие. Он был пацифист, сторонник полной, неограниченной свободы, любил несокрушимой любовью все человечество и все зверье на земле. Избранная душа! Да это уж несомненно!.. И знаете, во время последних религиозных войн в Европе он удалился в деревню. На пороге своего дома он написал: «Откуда бы вы ни явились, входите. Добро пожаловать!» И кто же, по-вашему, отозвался на это радушное приглашение? Фашисты. Они вошли к миротворцу как к себе домой и выпустили ему кишки.

Ах, извините, мадам! Впрочем, она ничего не поняла. Как много кругом народу, хотя час поздний, дождь льет не переставая уже несколько дней! К счастью, существует джин, единственный

проблеск света в этом мраке. Вы чувствуете, как он зажигает в вас огонь, золотистый, с медным отливом? Люблю вечерами ходить по городу и чувствовать, как меня согревает джин. Я хожу целые ночи, мечтаю или без конца разговариваю сам с собой. Вот так же, как нынче вечером. Да-да. Боюсь, что я немножко ошеломил вас. Нет? Благодарю вас, вы очень любезны. Но знаете, душа переполнена, и лишь только я открываю рот — текут, текут слова. К тому же сама страна вдохновляет меня. Я люблю этот народ, толпы людей кишат здесь на тротуарах, стиснутые на малом пространстве между домами и водой, окруженные туманами, холодной землей и морем, над которым поднимается пар, как над стиральным баком. Люблю этот народ, у голландцев двойственная натура: они здесь и вместе с тем где-то далеко.

Ну да! Вот послушайте их тяжелые шаги по лоснящейся мостовой, посмотрите, как грузно они лавируют между своими лавками, где полно золотистых селедок и драгоценностей цвета палых листьев. Вы, конечно, думаете, что они тут нынче вечером? Вы ошибаетесь, как и все, принимая этих славных людей за племя синди-

ков[3] и купцов, полагая, что они подсчитывают свои барыши и свои шансы на вечную жизнь, а лирическая сторона их натуры проявляется лишь изредка, когда, накрывшись широкополыми шляпами, они берут урок анатомии. О, как вы ошибаетесь! Правда, они проходят около нас, и все же взгляните — где их головы? В красном или зеленом светящемся тумане, который разливают неоновые вывески, рекламирующие джин и мятный ликер. Голландия — это сон, сударь, золотой и дымный сон, более дымный днем, более золотой ночью, но и ночью и днем этот сон населен Лоэнгринами,[4] такими вот, как эти молодые люди, что задумчиво едут на своих черных велосипедах с высокими рулями, похожих на траурных лебедей, которые непрестанно скользят по всей стране вокруг морей, вдоль каналов. А люди мечтают в неоновой дымке медного отлива, они кружат на одном месте, они молятся в золотистом фимиаме тумана — их уже нет с

---

[3] Примечания: 3

Синдик — в феодальных государствах Западной Европы старшина цеха или гильдии; в наши дни — глава местного самоуправления, правительства.

[4] Примечания: 4

Лоэнгрин — персонаж немецкой средневековой легенды и цикла куртуазных романов о поисках Грааля; позднее — герой одноименной оперы Р. Вагнера (1850).

нами. Они унеслись в мечтах за тысячи километров — к Яве, к далекому острову.[5] Они молятся гримасничающим богам Индонезии, которыми украшены все их витрины и которые витают в эту минуту над нами, а потом ухватятся, как тропические обезьяны, за вывески и за крыши, расположенные лесенками, и сразу напомнят этим тоскующим колонистам, что Голландия — это не только торговая Европа, но и море, море, ведущее к Сипанго[6] и к тем островам, где люди умирают безумными и счастливыми.

Да что ж это я разошелся и произношу защитительную речь. Извините! Привычка, сударь, призвание! Да и хочется мне, чтобы вы лучше поняли этот город и сущность вещей! Ведь мы у самой их сущности. Вы заметили, что концентрические каналы Амстердама походят на круги ада? Буржуазного ада, разумеется, населенного дурными снами. Когда приедешь сюда из других мест, то, по мере того как проходишь по этим кругам, жизнь, а значит, и ее преступления становятся более осязаемыми, более мрачными. Мы

---

[5] Примечания: 5

…к Яве, к далекому острову… — Ява, как и вся территория Индонезии, была Нидерландской колонией с 1602 по 1945 гг.

[6] Примечания: 6

Сипанго — старинное европейское название Японии.

здесь в последнем кругу. В кругу тех… Ах, вы это знаете? Вот черт, все труднее становится определить, кто вы такой! Но, значит, вы понимаете, почему я говорю: средоточие мира находится именно здесь, хотя Голландия и расположена на краю материка. Человек с тонкой организацией понимает эту странность. Во всяком случае, для глотателей газет и блудников — это последняя граница континента. Они съезжаются со всех концов Европы и останавливаются вокруг внутреннего моря, на бесцветном песчаном берегу. Они слушают сирены и тщетно ищут в тумане силуэт корабля, а потом переходят по мостам через каналы и под дождем возвращаются к себе. Закоченев, они заходят в «Мехико-Сити» и на всех языках требуют джина. Я жду их там.

Итак, до завтра, дорогой мой соотечественник. Нет-нет, вы теперь легко найдете дорогу. Я расстанусь с вами у моста — я, знаете ли, никогда не хожу ночью по мосту. Дал такой зарок. Ну, предположите, что кто-нибудь на ваших глазах бросится в воду.

Одно из двух: или вы кинетесь спасать несчастного, а в холодное время года это грозит вам гибелью, или предоставите утопающего самому себе, и от его негромких всплесков, попыток

выплыть вас будет мучить порой странная ломота. Ну, покойной ночи. Как, вы не знаете, кто эти дамы в витринах? Сама мечта, сударь, мечта! Путешествие в Индию по сходной цене. Эти красавицы насквозь пропахли экзотическими пряностями. Вы входите, они задергивают занавески, и плавание начинается. Боги нисходят на обнаженные тела, по океану дрейфуют острова, безумные, увенчанные взлохмаченными на ветру космами высоких пальм. Попробуйте.

Что такое судья на покаянии? О, я вижу, вы заинтригованы. Я сказал это без всякой хитрости, поверьте, и могу объяснить. В известном смысле это даже входит в мои обязанности. Но сначала мне нужно сообщить вам некоторые факты, они помогут вам лучше понять меня.

Несколько лет назад я был адвокатом в Париже, и, честное слово, довольно известным адвокатом. Разумеется, я вам не сказал своего настоящего имени. Я специализировался на «благородных делах», на защите вдов и сирот, как говорится. Не знаю, почему защищать их считается благородным — ведь есть весьма зловредные вдовы и свирепые сироты. Но достаточно было, чтобы от обвиняемого хоть чуточку повеяло запахом жертвы, как широкие рукава моей мантии начинали

взлетать. Да еще как! Настоящая буря. Душа нараспашку. Право, можно было подумать, что сама богиня правосудия еженощно сходила на мое ложе. Я уверен, вас восхитил бы верный тон моих защитительных речей, искренность волнения, убедительность, теплота и сдержанное негодование. От природы я был наделен выигрышной внешностью, благородные позы давались мне без труда. Кроме того, меня поддерживали два искренних чувства. Чувство удовлетворенности от того, что я борюсь за правое дело, и безотчетное презрение к судьям вообще. Впрочем, это презрение в конце концов не было уж таким безотчетным. Теперь я знаю, что для него имелись основания, но со стороны оно походило на некую страсть. Нельзя отрицать, что по крайней мере в настоящий момент с судьями у нас слабовато, не правда ли? Но я не мог понять, как это человек решается выполнять такие удивительные обязанности. Судьи, однако, примелькались мне, и я мирился с их существованием, как, скажем, с существованием кузнечиков. С тою лишь разницей, что нашествие стрекочущих прямокрылых никогда не приносило мне ни гроша, тогда как я зарабатывал себе на жизнь благодаря словопрениям с этими людьми, которых я презирал.

Итак, я пребывал в лагере справедливости, и этого было достаточно для моего душевного спокойствия. Чувство своей правоты, удовлетворенности победой над противником и уважение к самому себе — все это, дорогой мой, мощные пружины, помогающие выстоять в борьбе и даже идти вперед. А если лишить людей этих чувств, вы их превратите в бешеных собак. Сколько преступлений совершено просто потому, что виновник не мог перенести мысли, что он раскрыт. Я знал когда-то одного промышленника. Жена его была прелестная женщина, вызывавшая всеобщее восхищение, а он все-таки ей изменял да еще буквально бесился из-за того, что был виноват перед ней и что никто решительно, даже он сам, не мог бы дать ему свидетельство о добродетели. Чем больше проявлялось совершенство его жены, тем сильнее он бесновался. В конце концов сознание своей вины стало для него невыносимым. И как вы думаете, что он сделал тогда? Перестал ей изменять? Нет. Он убил ее. Из-за этого у нас и завязались с ним отношения.

Мое положение было куда более завидным. Я не только не рисковал попасть в лагерь преступников (в частности, никак уж не мог убить свою жену, так как был холостяком), но я еще высту-

пал в их защиту при том единственном условии, чтобы они были настоящими убийцами, как дикари бывают настоящими дикарями. Самая моя манера вести защиту приносила мне глубокое удовлетворение. Я был поистине безупречен в своей профессиональной деятельности. Я никогда не принимал взяток, это уж само собой разумеется, да никогда и не унижался до каких-нибудь махинаций. И что еще реже бывает, я никогда не соглашался льстить какому-нибудь журналисту, чтобы он благосклонно отзывался обо мне, или какому-нибудь чиновнику, чье расположение было бы мне полезно. Два-три раза мне представлялся случай получить орден Почетного легиона, и я отказывался со скромным достоинством, находя в этом истинную себе награду. Наконец, я никогда не брал платы с бедняков и никогда не кричал об этом на всех перекрестках. Не думайте, однако, дорогой мой, что я говорю все это из хвастовства. Тут не было никакой моей заслуги: алчность, которая в нашем обществе заняла место честолюбия, всегда была мне смешна. Я метил выше. Вы увидите, что в отношении меня это правильное выражение.

Да сами посудите, чего еще мне было надо? Я восхищался собственной натурой, а ведь всем

известно, что это большое счастье, хотя для взаимного успокоения мы иногда делаем вид, будто осуждаем такого рода чувство, называя его самовлюбленностью. Как хотите, а я лично радовался, что природа наделила меня свойством так остро реагировать на горе вдов и сирот, что в конце концов оно разрослось, развилось и постоянно проявлялось в моей жизни. Я, например, обожал помогать слепым переходить через улицу. Лишь только я замечал палку, нерешительно качавшуюся на краю тротуара, я бросался туда, иной раз на секунду опередив другую сострадательную руку, подхватывал слепого, отнимал его от всех других благодетелей и мягко, но решительно вел его по переходу через улицу, лавируя среди всяческих препятствий, и доставлял в спокойную гавань — на противоположный тротуар, где мы с ним и расставались, оба приятно взволнованные. Точно так же я любил услужить нужной справкой заблудившемуся прохожему, дать прикурить, помочь тащить тяжело нагруженную тележку, подтолкнуть застрявший на мостовой автомобиль, охотно покупал газету у члена Армии спасения или букетик у старушки цветочницы, хотя и знал, что она крадет цветы на кладбище Монпарнас. И я любил также (рассказывать об

этом труднее всего) подавать милостыню. Один мой приятель, добродетельный христианин, признавался, что первое чувство, которое он испытывает при виде нищего, приближающегося к его дому, неудовольствие. Со мной дело обстояло хуже: я ликовал! Но не будем на этом останавливаться.

Поговорим лучше о моей вежливости. Она была знаменита и притом бесспорна. Она доставляла мне великие радости. Если мне иной раз так везло по утрам, что я мог уступить место в автобусе или в метро (разумеется, тому, кто этого заслуживал), подобрать вещь, выпавшую из рук почтенной дамы, подать ей потерю с обычной своей милой улыбкой или попросту уступить такси торопящемуся куда-то человеку, то весь день был для меня озарен этой удачей. Надо признаться, я даже радовался забастовкам на общественном транспорте, так как в эти дни мог на остановках автобусов посадить в свой автомобиль кого-нибудь из злосчастных моих сограждан, не знавших, как им добраться до дому. Поменять свое место в театре для того, чтобы влюбленные могли сидеть рядышком, услужить в вагоне железной дороги молодой девушке, любезно водрузив ее чемодан на багажную полку, слишком высокую для нее, —

все эти подвиги я совершал чаще, чем другие люди, потому что ловил к этому случай и потому что они доставляли мне наслаждение.

Я слыл человеком щедрым и действительно был таковым. Я проявлял эту черту и в общественной и в личной благотворительности. Мне нисколько не было жаль расставаться с отдаваемой вещью или с определенной суммой денег; наоборот, я всегда извлекал из этой филантропии некоторые радости, и далеко не самой маленькой из них была меланхолическая мысль о бесплодности моих даров и весьма вероятной неблагодарности, которая за ними воспоследует. Мне было очень приятно дарить, но я терпеть не мог, когда меня принуждали к этому. Подписные листы с их точными цифрами меня раздражали, и я давал по ним скрепя сердце. Мне хотелось самому распоряжаться своими щедротами.

Всё это мелочи, но они помогут вам понять, сколько радостей я постоянно находил в жизни, и особенно в своей профессии. Вот, например, остановит тебя в коридорах Судебной палаты жена обвиняемого, которого ты защищал только во имя справедливости или из сострадания, то есть бесплатно, услышишь, как эта женщина лепечет, что отныне вся их семья в неоплатном долгу пе-

ред тобой, а ты ответишь ей, что это было вполне естественно с твоей стороны, любой на твоем месте поступил бы точно так же, предложишь даже денежную помощь, чтобы они могли пережить предстоящие трудные дни, а затем, чтобы оборвать благодарственные излияния и сохранить верный их резонанс, поцелуешь руку бедняжке и покончишь на этом разговор. Поверьте, дорогой мой, это высокое удовольствие, недоступное вульгарному честолюбию. Ты при этом поднимаешься на вершину благородства, которое не нуждается в каком-нибудь поощрении.

Остановимся на этих высотах. Вы теперь понимаете, конечно, что я хотел сказать, заявив, что я «метил выше». Я правильно назвал это «вершиной благородства», единственной, на которой я мог жить. Да, я чувствовал себя свободно, только когда карабкался вверх. Даже в житейских мелочах мне всегда хотелось быть выше других. Троллейбус я предпочитал вагонам метро, автобусы — автомобилям, террасы — антресолям. Я любитель спортивных самолетов, когда у тебя над головой открытое небо, а на пароходах я всегда выбираю для прогулок верхнюю палубу. В горах я бегу от ущелий, взбираюсь на перевалы, на плато; уж если равнина,

то высокогорная, на меньшее я не согласен. Если бы по воле судьбы мне пришлось выбирать себе какое-нибудь ремесло, например токаря или кровельщика, будьте спокойны, я бы выбрал крыши и не побоялся головокружения. Трюмы, погреба, подземелья, гроты, пропасти вызывают у меня ужас. Я даже возненавидел спелеологов, которые имеют нахальство занимать первую полосу в газетах, и подвиги этих исследователей были мне противны. Спускаться в пропасть на глубину восемьсот метров ниже уровня моря, рискуя не вытащить головы из расщелины в скале (из «сифона», как говорят эти безумцы), — на такой подвиг, казалось мне, могли пойти только люди извращенные или чем-то травмированные. В этом есть что-то мерзкое.

Природная терраса на высоте пятьсот или шестьсот метров над уровнем моря, которое еще видишь, которое залито светом, — вот где мне дышалось легче всего, особенно если я был там один, вдали от человеческих муравейников. Я очень хорошо понимал, почему проповеди, смелые пророчества, чудеса огня происходили на вершинах. По-моему, никто не мог предаваться размышлениям в подземельях или в тюремных камерах (если только последние не были распо-

ложены в башне, откуда открывался широкий вид) — там не размышляли, а плесневели. Я понимал тех, кто пошел в монахи, а потом стал расстригой из-за того, что окно кельи выходило не на светлые просторы, а на глухую стену. Будьте уверены, уж я-то отнюдь не плесневел. Ежедневно и ежечасно я наедине с собой или на людях взбирался на высоты, зажигал там яркие костры и внимал веселым приветственным крикам, доносившимся снизу. Так я радовался жизни и собственному своему совершенству.

Профессия адвоката, к счастью, вполне удовлетворяла моему стремлению к высотам. Она избавляла меня от горькой обиды на моих ближних, которым я всегда оказывал услугу, не будучи им ничем обязан. Она ставила меня выше судьи, которого я в свою очередь ставил выше подсудимого, а последний обязан был, конечно, питать ко мне признательность. Оцените же это сами, сударь: я пользовался безнаказанностью. Я не был подвластен никакому суду, не находился на подмостках трибунала. Я был где-то над ним, в колосниках, как боги в античном театре, которые время от времени при помощи машины спускались, чтобы преобразить ход действия и дать этому действию угодный им оборот. В конце

концов жить, возвышаясь над другими, — вот единственная оставшаяся нам возможность добиться восторженных взглядов и приветственных криков толпы.

Кое-кто из моих подзащитных, кстати сказать, и совершил убийство именно из таких побуждений. Уголовная хроника в газетах, собственная ничтожная роль в жизни и высокое мнение о себе, несомненно, повергали их в печальную экзальтацию. Как и многие люди, они не в силах были смириться со своей безвестностью, и нетерпеливая жажда прославиться отчасти и могла привести их к злополучным крайностям. Ведь чтобы добиться известности, достаточно убить консьержку в своем доме. К несчастью, такого рода слава эфемерна — уж очень много на свете консьержек, которые заслуживают и получают удар ножом. На суде преступление все время находится на переднем плане, а сам преступник появляется у рампы лишь мельком, его тотчас сменяют другие фигуры. Словом, за краткие минуты триумфа ему приходится платить слишком дорого. А вот мы, адвокаты, защищая этих несчастных честолюбцев, жаждущих славы, действительно можем прославиться одновременно с ними и рядом с ними, но более экономными

средствами. Это и побуждало меня прибегать к достохвальным усилиям, дабы они платили как можно меньше. Ведь, расплачиваясь за свои проступки, они немного платили и за мою репутацию. Негодование, ораторский талант, волнение, которое я на них растрачивал, избавляли меня от всякого долга перед ними. Судьи карали, ибо обвиняемым полагалось искупить свою вину, а я, свободный от всякого долга, не подлежавший ни суду, ни наказанию, царил, свободно рея в райском сиянии. Как же не назвать раем бездумное существование, дорогой мой? Вот я и блаженствовал. Мне никогда не приходилось учиться жить. По этой части я был прирожденным мастером. Для иных людей важнейшая задача — укрыться от нападок, а для других — поладить с нападающими. Что касается меня, то я отличался гибкостью. Когда нужно было, держался запросто, когда полагалось, замыкался в молчании, то проявлял веселую непринужденность, то строгость. Неудивительно, что я пользовался большой популярностью, а своим победам в обществе и счет потерял. Я был недурен собой, считался и неутомимым танцором и скромным эрудитом, любил женщин и вместе с тем любил правосудие (а сочетать две эти склонности совсем нелегко),

был спортсменом, понимал толк в искусстве и в литературе — ну, тут уж я остановлюсь, не то вы заподозрите меня в самовлюбленности. Но все-таки представьте себе человека в цвете лет, наделенного прекрасным здоровьем, разнообразными дарованиями, искусного в физических упражнениях и в умственной гимнастике, ни бедного, ни богатого, отнюдь не страдающего бессонницей и вполне довольного собою, но проявляющего это чувство только в приятной для всех общительности. Согласитесь, что у такого счастливца жизнь должна была складываться удачно.

Да, мало кому жилось так просто, как мне. Мне совсем не приходилось ломать себя, я принимал жизнь полностью такою, какой она была сверху донизу, со всей ее иронией, ее величием и ее рабством. В частности, плоть, материя — словом, все телесное, что расстраивает или обескураживает многих людей, поглощенных любовью или живущих в одиночестве, не порабощали меня, а неизменно приносили мне радости. Я создан был для того, чтобы иметь тело. Оттого и развились у меня это высокое самообладание, эта гармоничность, которую люди чувствовали во мне и порой даже признавались, что она помогала им жить.

Неудивительно, что их тянуло ко мне. Нередко новым моим знакомым казалось, что они когда-то уже не раз виделись со мной. Жизнь и люди с их дарами шли навстречу всем моим желаниям; я принимал восхищение моих почитателей с благожелательной гордостью. Право же, я жил полнокровной жизнью, с такой простотой и силой ощущая свое человеческое естество, что даже считал себя немножко сверхчеловеком.

Я происходил из порядочной, но совсем незнатной семьи (мой отец был офицером), однако иной раз утром, признаюсь смиренно, чувствовал себя принцем или неопалимой купиной. Заметьте, пожалуйста, что я отнюдь не воображал себя самым умным человеком на свете. Подобная уверенность ни к чему не ведет хотя бы потому, что ею исполнены полчища дураков. Нет, жизнь очень уж баловала меня, и я, стыдно признаться, мнил себя избранником, чье особое предназначение — долгий и неизменный успех. Такое мнение я составил из скромности. Я отказывался приписать этот успех только своим достоинствам и не мог поверить, чтобы сочетание в одной личности разнообразных высоких качеств было случайным. Вот почему, живя счастливо, я чувствовал, что это счастье, так сказать, дано мне неким высшим

соизволением. Если я вам скажу, что я человек абсолютно неверующий, вы еще больше оцените необычайность такого убеждения. Обычное или необычное, но оно долго поднимало меня над буднями, над обывательщиной, благодаря ему я парил в высоте целые годы, и я с сожалением вспоминаю о них. Долго парил я в поднебесье, но вот однажды вечером... Да нет, это совсем другое дело, лучше всего забыть о нем. Впрочем, я, может быть, преувеличиваю. Мне жилось так приятно, а вместе с тем я хотел все новых и новых радостей, никак не мог насытиться. Переходил с празднества на празднество. Случалось, я танцевал ночи напролет, все больше влюбляясь в людей и в жизнь. Иной раз в поздний час такой безумной ночи, когда танцы, легкое опьянение, разгул, всеобщая и неистовая жажда наслаждений приводили меня в какое-то экстатическое состояние, я, утомленный, как будто достигнув предела усталости, на минуту, казалось, постигал тайну людей и мира. Но на утро усталость проходила, а вместе с тем забывалась и разгадка тайны, я вновь бросался в погоню за удовольствиями. Я гнался за ними, всегда находил их, никогда не чувствовал пресыщения, не знал, где и когда остановлюсь, и так было до того дня,

вернее, вечера, когда музыка вдруг оборвалась и погасли огни. Празднество, на котором я был так счастлив… Но позвольте мне воззвать к нашему другу примату. Покивайте ему головой в знак благодарности, а главное, выпейте со мной, мне нужна ваша благожелательность.

Вижу, что такое заявление удивляет вас. Разве вы никогда не испытывали внезапную потребность в сочувствии, в помощи, в дружбе. Да, несомненно. Но я уже привык довольствоваться сочувствием. Его найти легче, и оно ни к чему не обязывает. «Поверьте, я очень сочувствую вам», — говорит собеседник, а сам думает про себя: «Ну вот, теперь займемся другими делами». «Глубокое сочувствие» выражает и премьер-министр — его очень легко выразить пострадавшим от какой-нибудь катастрофы. Дружба — чувство не такое простое. Она иногда бывает долгой, добиться ее трудно, но, уж если ты связал себя узами дружбы, попробуй-ка освободиться от них — не удастся, надо терпеть. И главное, не воображайте, что ваши друзья станут звонить вам по телефону каждый вечер (как бы это им следовало делать), чтобы узнать, не собираетесь ли вы покончить с собой или хотя бы не нуждаетесь ли вы в компании, не хочется ли вам пойти куда-нибудь. Нет,

успокойтесь, если они позвонят, то именно в тот вечер, когда вы не одни и когда жизнь улыбается вам. А на самоубийство они скорее уж сами толкнут вас, полагая, что это ваш долг перед собою. Да хранит вас небо от слишком высокого мнения друзей о вашей особе! Что касается тех, кто обязан нас любить — я имею в виду родных и соратников (каково выражение!), — тут совсем другая песня. Они-то знают, что вам сказать: именно те слова, которые убивают; они с таким видом набирают номер телефона, как будто целятся в вас из ружья. И стреляют они метко. Ах, эти снайперы!

Что? Рассказать про тот вечер! Я дойду до него, потерпите немножко. Да, впрочем, я уже и подошел к этой теме, упомянув о друзьях и соратниках. Представьте, мне говорили, что один человек, сострадая своему другу, брошенному в тюрьму, каждую ночь спал не на постели, а на голом полу — он не желал пользоваться комфортом, которого лишили его любимого друга. А кто, дорогой мой, будет ради нас спать на полу? Да разве я сам стал бы так спать? Право, я хотел бы и мог бы пойти на это. Когда-нибудь мы все сможем, и в этом будет наше спасение. Но достигнуть его нелегко, ведь дружба страдает рассеянностью или по крайней мере она немощна. Она хочет, но не может. Ве-

роятно, она недостаточно сильно хочет? Или мы недостаточно любим жизнь. Заметили вы, что только смерть пробуждает наши чувства? Как горячо мы любим друзей, которых отняла у нас смерть. Верно? Как мы восхищаемся нашими учителями, которые уже не могут говорить, ибо у них в рот набилась земля. Без тени принуждения мы их восхваляем, а может быть, они всю жизнь ждали от нас хвалебного слова. И знаете, почему мы всегда более справедливы и более великодушны к умершим? Причина очень проста. Мы не связаны обязательствами по отношению к ним. Они не стесняют нашей свободы, мы можем не спешить восторгаться ими и воздавать им хвалу между коктейлем и свиданием с хорошенькой любовницей — словом, в свободное время. Если бы они и обязывали нас к чему-нибудь, то лишь к памяти о них, а память-то у нас короткая. Нет, мы любим только свежие воспоминания о смерти наших друзей, свежее горе, свою скорбь — словом, самих себя!

Был у меня друг, от которого я чаще всего убегал. Скучный был человек и все читал мне мораль. Но когда он заболел и был уже при смерти, будьте покойны, я, конечно, явился. Ни одного дня не пропустил. Он умер, очень довольный мною, по-

жимал мне руки. У назойливой моей любовницы, которая слишком часто и тщетно зазывала меня к себе, хватило такта умереть молодой. Какое место она сразу заняла в моем сердце! А представьте себе не просто смерть, а самоубийство. Боже мой! Какая поднимается волнующая суматоха! Звонки по телефону, излияния сердца, нарочито короткие фразы, полные намеков и сдержанного горя, и даже, да-да, даже обвинения в свой адрес.

Так уж скроен человек, дорогой мой, это двуликое существо: он не может любить, не любя при этом самого себя. Понаблюдайте за соседями, когда в вашем доме кто-нибудь вдруг умрет. Все шло тихо, мирно, и вот, скажем, умирает швейцар. Тотчас все всполошатся, засуетятся, станут расспрашивать, сокрушаться. Покойник готов к показу, начинается представление. Людям требуется трагедия, что поделаешь, это их врожденное влечение, это их аперитив. А кстати, я не случайно упомянул о швейцаре. У нас был в доме швейцар, настоящий урод, и к тому же злой как дьявол, ничтожество и злопыхатель, он привел бы в отчаяние самого кроткого монаха-францисканца. При его жизни я даже разговаривать с ним перестал. Одним уж своим существованием он портил мне жизнь. Но вот он умер, и я пошел

на его похороны. Скажите мне, пожалуйста, почему?

За два дня, предшествующих погребению, произошло, впрочем, много интересного. Жена покойного была больна и лежала в постели, комната в швейцарской только одна, и рядом с кроватью поставили на козлы гроб. Жильцам приходилось самим брать в швейцарской почту. Они отворяли дверь, говорили: «Здравствуйте, мадам», выслушивали хвалу усопшему, на которого жена указывала рукой, и уходили, захватив письма и газеты. Ничего приятного в этом нет, не правда ли? И однако ж, все жильцы продефилировали в швейцарской, где воняло карболкой. И никто не посылал вместо себя слуг, нет, все сами спешили насладиться зрелищем. Слуги тоже приходили, но в качестве дополнения. В день похорон оказалось, что гроб не проходит в двери. «Ох, миленький ты мой, — говорила лежащая в постели вдова с восторженным и скорбным удивлением, — какой же ты был большой!» «Не беспокойтесь, мадам, — отвечал распорядитель похорон, — мы его накреним и пронесем». Гроб пронесли, а потом водрузили на катафалк. И только я один (кроме бывшего рассыльного из соседнего кабака, постоянного,

как я понял, собутыльника усопшего), да, я один проводил покойного на кладбище и бросил цветы на гроб, удививший меня своей роскошью. Затем я навестил вдову и выслушал ее трагическое выражение благодарности. Ну скажите мне, что за причина всему этому. Никакой — аперитив, и только.

Я хоронил также старого сотрудника коллегии адвокатов. Обыкновенный жалкий чинуша, которому я, однако, всегда пожимал руку. Впрочем, там, где я работал, я всем пожимал руки, и даже по два раза на день. Этим простым знаком внимания я, можно сказать, по дешевке завоевывал всеобщую симпатию, необходимую для моего душевного благоденствия. На похороны старика председатель коллегии, конечно, не пожаловал. Я же счел нужным явиться, хотя на другой день отправлялся в путешествие, и это многие подчеркивали. Но ведь я знал, что мое присутствие будет замечено и весьма лестно для меня истолковано. Как же иначе! Меня не остановил даже сильный снегопад, испугавший других.

Что? Да вы не беспокойтесь, я не отклоняюсь от темы. Только разрешите мне сначала отметить, что вдова нашего швейцара, можно сказать разорившаяся на дорогое распятие, на дубовый гроб

с серебряными ручками, доказывавший глубину ее скорби, не позже чем через месяц сошлась с франтиком, обладавшим прекрасным голосом. Он ее колотил, из швейцарской неслись ужасные вопли, но тотчас же после экзекуции он отворял окно и орал свой любимый романс: «О женщины, как вы милы!» «И все-таки…» — сокрушались соседи. А что, спрашивается, «все-таки»? Словом, внешние обстоятельства говорили против этого баритона. Верно? И вдова тоже хороша! Впрочем, кто докажет, что они не любили друг друга? И кто докажет, что она не любила умершего мужа? Кстати сказать, как только франтик улетучился, надсадив себе голос и руку, верная супруга опять принялась восхвалять покойного. Да в конце концов я знаю много случаев, когда внешние обстоятельства говорят в пользу безутешных вдов и вдовцов, а на самом деле они не более искренни и верны, чем эта жена швейцара. Я знал человека, который отдал двадцать лет своей жизни сущей вертихвостке, пожертвовал ради нее решительно всем — друзьями, карьерой, приличиями и в один прекрасный день обнаружил, что никогда ее не любил. Ему просто было скучно, как большинству людей. Вот он и создал себе искусственную жизнь, сотканную

из всяких сложных переживаний и драм. Надо, чтобы что-нибудь случилось, — вот объяснение большинства человеческих конфликтов. Надо, чтобы что-нибудь случилось необыкновенное, пусть даже рабство без любви, пусть даже война или смерть! Да здравствуют похороны!

Но у меня не было даже такого оправдания. Меня отнюдь не томила скука, потому что я царствовал. В тот вечер, о котором я хочу сказать, я скучал меньше, чем когда бы то ни было, и совсем не жаждал, чтобы случилось «что-нибудь необыкновенное». А между тем… Представьте себе, дорогой мой, как спускается над Сеной осенний мягкий вечер, еще теплый, но уже сырой. Наступают сумерки, на западе небо еще розовое, но постепенно темнеет, фонари светят тускло. Я шел по набережным левого берега к мосту Искусств. Между запертыми ларьками букинистов поблескивала река. Народу на набережных было немного. Парижане уже сели за ужин. Я наступал на желтые и пыльные опавшие листья, еще напоминавшие о лете. В небе мало-помалу загорались звезды… Минуешь фонарь, отойдешь на некоторое расстояние — они становятся заметнее. Я наслаждался тишиной, прелестью вечера, безлюдьем. Я был доволен истекшим днем: помог

перейти через улицу слепому, потом оправдалась надежда на смягчение приговора моему подзащитному, он горячо пожал мне руку; я выказал щедрость кое в каких мелочах, а после обеда в кружке приятелей блеснул импровизированной речью, обрушившись на черствость сердец в правящем классе и лицемерие нашей элиты.

Я нарочно пошел по мосту Искусств, совсем пустынному в этот час, и, остановившись, перегнулся через перила: мне хотелось посмотреть на реку, еле видневшуюся в густеющих сумерках. Остановился я напротив статуи Генриха IV, как раз над островом. Во мне росло и ширилось чувство собственной силы и, я сказал бы, завершенности. Я выпрямился и хотел было закурить сигарету, как это бывает в минуту удовлетворения, как вдруг за моей спиной раздался смех. Я в изумлении оглянулся — никого. Я подошел к причалу — ни баржи, ни лодки. Вернулся на старое место — к острову — и снова услышал у себя за спиной смех, только немного дальше, как будто он спускался вниз по реке. Я замер неподвижно. Смех звучал тише, но я еще явственно слышал его позади себя. Откуда он шел? Ниоткуда. Разве только из воды. Я чувствовал, как колотится у меня сердце. Заметьте, пожалуйста, в этом смехе

не было ничего таинственного — такой славный, естественный, почти дружеский смех, который все ставит на свои места. Да, впрочем, он вскоре прекратился, я ничего больше не слышал. Я пошел по набережным, свернул на улицу Дофины, купил совсем не нужные мне сигареты. Я был ошеломлен, я тяжело дышал. Вечером я позвонил приятелю, его не оказалось дома. Хотел пойти куда-нибудь и вдруг услышал смех под своими окнами. Я отворил окно. Действительно, на тротуаре смеялись: какие-то молодые люди весело хохотали, прощаясь друг с другом. Пожав плечами, я затворил окно, меня ждала папка с материалами по делу, которое я вел. Я пошел в ванную, выпил стакан воды. Увидел в зеркале свое лицо, оно улыбалось, но улыбка показалась мне какой-то фальшивой.

Что? Простите, я задумался. Вероятно, мы завтра увидимся. Завтра, так будет лучше. Нет-нет, сегодня я не могу остаться. К тому же меня зовет для консультации некий медведь косолапый — видите, вон там? Вполне порядочный человек, а полиция по своей мерзкой привычке ужасно придирается к нему. Вы находите, что у него физиономия убийцы? Полноте, такая внешность естественна при его профессии. Он действитель-

но налетчик, и вы, конечно, удивитесь, если я скажу, что он неплохо разбирается в живописи и торгует картинами. В Голландии все понимают толк в живописи и в тюльпанах. Этому человеку, несмотря на его скромный вид, приписывают одну из самых смелых краж. Он украл картину. Какую? Я, пожалуй, скажу. Не удивляйтесь, что я знаю. Хоть я судья на покаянии, у меня есть свои увлечения: я состою юрисконсультом этих славных людей. Я изучил законы страны, и у меня появилась клиентура в этом квартале — тут не требуют предъявления диплома. Сначала мне было нелегко, но ведь я внушаю людям доверие: у меня такой приятный, искренний смех, такое энергичное пожатие руки, а это большие козыри. Кроме того, я им помог в нескольких запутанных делах, сделав это не только из корысти, но и по убеждению. Ведь если бы сутенеры и воры всегда и всюду подвергались суровым карам, то так называемые честные люди считали бы себя совершенно невинными, дорогой мой. Подождите, подождите, я уже подхожу к самой сути, по-моему, как раз этого-то и следует избегать. Иначе уж очень бы смешно получалось.

Право, дорогой мой соотечественник, я очень вам признателен за ваше любопытство. Но в

моей истории нет ничего необыкновенного. Раз она вас интересует, учтите, что я помнил об этом смехе совсем недолго — несколько дней, а потом забыл о нем.

Изредка мне казалось, что я слышу его где-то в себе. Но обычно я без всяких усилий со своей стороны думал о другом.

Должен, однако, признаться, что я больше не ходил на набережные. Когда я проезжал там в такси или в автобусе, во мне все замирало — в ожидании, кажется мне. Но мы спокойно проезжали по мосту, никогда ничего не случалось, и я вздыхал с облегчением. Как раз в ту пору у меня немного расстроилось здоровье. Ничего определенного, просто какая-то подавленность, с трудом возвращалось былое хорошее настроение. Я обращался к врачам, мне прописывали всякие укрепляющие средства. Бывало, приободришься, а потом опять раскиснешь. Жить стало невесело: когда какая-нибудь болезнь подтачивает тело, сердце томит тоска. Мне казалось, что я отчасти разучился делать то, чему никогда не учился, но так хорошо умел — жить. Да, кажется, тогда-то все и началось.

А знаете, нынче вечером я не в форме. Не клеится у меня рассказ. Право, язык не ворочается,

и все красноречие иссякло. Погода, должно быть, виновата. Трудно дышать, воздух такой тяжелый, просто давит на грудь. А что, если бы мы, дорогой соотечественник, вышли прогуляться по городу? Не возражаете? Спасибо.

Как хороши нынче вечером каналы! Я люблю, когда ветер повеет над этими стоячими водами, принесет запах листьев, которые мокнут в канале, и похоронный запах, поднимающийся с баркасов, нагруженных цветами. Нет-нет, в моей любви к этим запахам нет ничего извращенного, болезненного. Наоборот, я сознательно стараюсь привыкнуть к ним. По правде говоря, я заставляю себя восхищаться амстердамскими каналами. Но больше всего на свете я, знаете ли, люблю Сицилию, она так прекрасна, когда видишь ее с высоты Этны,[7] всю залитую светом, видишь весь остров и расстилающееся внизу море. Ява тоже хороша, но только в период пассатов. Да-да, я там побывал в молодости. Я вообще люблю острова. Там легче царить.

Какой прелестный дом, взгляните. А две скульптуры, которые вы там видите, — это головы негров-невольников. Вывеска. Дом принадле-

---

[7] Примечания: 7

Этна — действующий вулкан на Сицилии, самый высокий в Европе.

жал работорговцу. О, в те времена игру вели в открытую! Смелые были дельцы. Не стесняясь, заявляли: «Вот мой дом, я богат, торгую невольниками, продаю черное мясо». Можете вы себе представить, чтобы нынче кто-нибудь публично сообщил, что он занимается таким промыслом? Вот был бы скандал! Воображаю, каких слов наговорили бы мои собратья в Париже. В этом вопросе они непоколебимы, они тотчас же выпустили бы два-три манифеста, а может, и больше! Поразмыслив, я бы тоже поставил свою подпись под их протестами. Рабство? О нет, нет! Мы против! Разумеется, мы вынуждены ввести его в своих владениях или на заводах — это в порядке вещей, но хвалиться такими делами? Это уж безобразие!

Я хорошо знаю, что нельзя обойтись без господства и без рабства. Каждому человеку рабы нужны как воздух. Ведь приказывать так же необходимо, как дышать. Вы согласны со мной? Даже самому обездоленному случается приказывать. У человека, стоящего на последней ступени социальной иерархии, имеется супружеская или родительская власть. А если он холост, то может приказывать своей собаке. В общем, главное, чтобы ты мог разгневаться, а тебе не смели бы

отвечать. «Отцу не смей отвечать». Вы знаете это требование? Странное все-таки правило. Кому же нам и отвечать в этом мире, как не тем, кого мы любим. Но в известном смысле это верное правило. Надо же, чтобы за кем-то оставалось последнее слово. А то ты скажешь слово, а тебе в ответ два, так спор никогда и не кончится. Зато уж власть живо оборвет любые пререкания. Далеко не сразу, но все же мы поняли это. Вы, я полагаю, заметили, что наша старуха Европа стала наконец рассуждать так, как надо. Мы уже не говорим, как в прежние наивные времена: «Я думаю так-то и так-то. Какие у вас имеются возражения?» У нас теперь трезвые взгляды. Диалог мы заменили сообщениями: «Истина состоит в том-то и том-то. Можете с ней не соглашаться, меня это не интересует. Но через несколько лет вмешается полиция и покажет вам, что я прав».

Ах, дорогая наша планета! Все на ней теперь ясно. Мы друг друга знаем, мы поняли, на что каждый способен. Вот погодите, я приведу в пример себя (не меняя, однако, темы). Я всегда хотел, чтобы мне служили с улыбкой. Если у прислуги был печальный вид, это портило мне настроение. Она, разумеется, имела право печалиться, но я находил, что для нее было бы лучше, если бы она

прислуживала смеясь, а не плача. Хотя, в сущности, это было бы лучше не для нее, а для меня. Однако скажу без хвастовства, мое рассуждение не было сплошным идиотством. И вот еще — я всегда отказывался обедать в китайских ресторанах. Почему? Потому что в присутствии белых азиаты, когда они молчат, зачастую принимают презрительный вид. Разумеется, презрительное выражение сохраняется у них и когда они обслуживают нас за столиком. Ну как в таком случае есть с удовольствием цыпленка, а главное, как думать, глядя на них, что мы выше желтокожих?

Словом, скажу вам по секрету, рабство, по преимуществу улыбающееся, необходимо. Но мы должны скрывать его. Раз мы не можем обойтись без рабов, не лучше ли называть их свободными людьми? Во-первых, из принципа, а во-вторых, чтобы не ожесточать рабов. Должны же мы их как-то компенсировать, верно? Тогда они всегда будут улыбаться и у нас будет спокойно на душе. А иначе нам придется туго: начнем копаться в себе, с ума сходить от горестных мыслей, даже можем сделаться скромными — всего можно ожидать. Поэтому никакого афиширования. Нахальная вывеска с головами негров просто возмутительна! Да и вообще, если все примутся

откровенничать, раскрывать свои подлинные занятия, свою личность, некуда будет от стыда деваться! Вообразите себе визитную карточку, на которой напечатано: «Дюпон — философ и трус», или «стяжатель и христианин», или «гуманист и прелюбодей». Выбор богатый. Но это был бы сущий ад! Да-да, в аду так и должно быть: улицы с вывесками и никакой возможности вступить в объяснение. Ярлык повешен раз и навсегда.

Право, советую вам, дорогой соотечественник, подумать немножко, каков будет ваш ярлык. Вы молчите? Ну ничего, потом ответите. Во всяком случае, я-то свой ярлык знаю: «Двуликий. Обаятельный Янус».[8] А сверху девиз: «Не доверяйтесь ему». На визитных же карточках будет напечатано: «Жан-Батист Кламанс, комедиант». Знаете, через некоторое время после того вечера, о котором я рассказывал, появилось, как я заметил, что-то новое в моем поведении. Расставшись со слепым на углу тротуара, до которого я помог ему добраться, я на прощание снимал шляпу и кланялся слепцу. Разумеется, поклон предна-

[8] Примечания: 8

Янус — в римской мифологии божество дверей, входа и выхода, затем — всякого начала; изображался с двумя лицами: одно направлено в прошлое, другое — в будущее. «Двуликий Янус» в переносном смысле — лицемер.

значался не для слепого — он ведь не мог меня видеть. Для кого же? Для публики. Роль сыграна, актер кланяется. Недурно, а? Однажды в ту же самую пору владельцу автомобиля, благодарившему меня за помощь в аварии, я ответил, что никто другой не приложил бы столько стараний. Разумеется, я хотел сказать: «Всякий на моем месте». Из-за этой злополучной оговорки у меня сжалось сердце. Ведь я же отличался, по всеобщему мнению, непревзойденной скромностью.

А на самом-то деле, признаюсь, дорогой соотечественник, меня просто распирало от тщеславия. «Я», «я», «я»! — вот лейтмотив моей жизни, он слышался во всем, что я говорил. Я не мог обойтись без хвастовства, но обладал искусством хвастаться с потрясающей скромностью. Правда, я всегда жил привольно и ощущал свою силу. И притом я чувствовал себя совершенно свободным от обязательств перед другими людьми по той простой причине, что всегда считал себя умнее всех, как я вам уже говорил, а также наделенным более совершенными органами чувств; я, например, превосходно стрелял, великолепно водил машину, был отличным любовником. Даже там, где легко было убедиться, что я отстаю от других, например на теннисном корте, ибо в теннис

я играл посредственно, я не мог отказаться от мысли, что, будь у меня время потренироваться, я превзошел бы чемпионов. Я видел в себе только замечательные качества, этим объяснялись мое самодовольство и безмятежное душевное спокойствие. Если я уделял внимание ближним, то только из снисходительности, без всякого принуждения и поэтому еще больше заслуживал похвалы и мог подняться еще выше в своей любви к самому себе.

Все эти истины и некоторые другие мало-помалу открылись мне после знаменательного вечера, о котором я вам рассказал. Не сразу, нет, и сперва не очень четко. Сначала нужно было, чтобы ко мне вернулась память. Постепенно я стал все видеть яснее, разобрался в том, что знал. Раньше мне всегда облегчала жизнь удивительная способность забывать. Я забывал все, и прежде всего свои решения. Войны, самоубийства, любовные трагедии, нищета людей — для меня все это не шло в счет. Конечно, я обращал на это внимание, когда меня принуждали к тому обстоятельства, но, так сказать, из вежливости, поверхностно. Порой я как будто горячо принимал к сердцу дело, совершенно чуждое моей повседневной жизни. Но по существу оставался к нему равнодушен, за

исключением тех случаев, когда стесняли мою свободу. Как бы это сказать? Все скользило. Да, все скользило по поверхности моей души.

Будем справедливы: случалось, моя забывчивость была похвальной. Заметили вы, что встречаются люди, которые по заповедям своей религии должны прощать и действительно прощают обиды, но никогда их не забывают? Я же совсем не склонен был прощать, но в конце концов всегда забывал. И оскорбитель, полагавший, что я ненавижу его, не мог прийти в себя от изумления, когда я с широкой улыбкой здоровался с ним. Тогда он в зависимости от своего характера восхищался величием моей души или же презирал мою трусость, не зная, что причина куда проще: я позабыл даже его имя. Мое великодушие объяснялось той самой природной ущербностью, которая делала меня неблагодарным или безразличным к людям.

Итак, я жил изо дня в день, и одно было у меня на уме: мое «я», мое «я», мое «я». День за днем — женщины, день за днем — благородные речи и блуд, будничный, как у собак; но каждый день я был полон любви к себе и крепко стоял на ногах. Так и текла жизнь, очень поверхностная, вся, так сказать, в словах, ненастоящая. Столько

книг, но они едва перелистаны, столько друзей, но им едва отдаешь крохотную частицу сердца, столько женщин, но как мимолетны эти связи! Чего я только не вытворял от скуки и в поисках развлечений! Женщины, живые люди, шли за мною, пытались ухватиться за меня, но ничего у них не получалось, к несчастью. К несчастью для них. Ведь я-то быстро их забывал. Я всегда помнил только о себе.

Постепенно, однако, память ко мне вернулась. Нет, я сам обратился к ней, и тогда воскресли воспоминания, долго ожидавшие меня. Но прежде чем рассказать о них, позвольте, дорогой соотечественник, привести несколько примеров (я уверен, они вам пригодятся) — примеров тех открытий, которые я сделал во время моих изысканий.

Однажды я вел машину и на мгновение замешкался нажать стартер, когда зажегся зеленый свет, наши терпеливые сограждане тотчас пустили в ход гудки, подняли адский рев, и тут мне внезапно вспомнилось происшествие, случившееся со мной при таких же обстоятельствах. Меня в тот раз обогнал мотоциклист, маленький, сухонький человечек в очках и в брюках гольф. Обогнал и остановился как раз передо мной, вы-

ехав на красный свет.

Мотоциклист выключил мотор, а мотор вдруг заело, и он тщетно пытался запустить его. Зажегся зеленый свет, я с обычной моей учтивостью деликатно прошу мотоциклиста: «Подвиньте, пожалуйста, свою машину, дайте проехать». А этот маленький человечек разнервничался, бьется над своим заглохшим мотором. И отвечает мне по всем правилам парижской вежливости, чтобы я убирался ко всем чертям. Я настаиваю все так же деликатно, но уже с ноткой нетерпения в голосе. Тотчас же я услыхал в ответ, что меня надо вздрючить как следует. А позади уже раздаются нетерпеливые гудки. Тогда я твердым тоном прошу мотоциклиста держать себя прилично и учесть, что он мешает уличному движению. Раздражительный человечек, несомненно придя в отчаяние от злостного упрямства своего мотора, сообщил мне, что если я желаю «схлопотать по морде», то он с большим удовольствием надает мне оплеух. Такой цинизм возмутил меня, и я вылез из машины, намереваясь надрать грубияну уши. Я отнюдь не считал себя трусом (мало ли что мнишь о себе), я был на голову выше своего противника, моя мускулатура всегда превосходно служила мне. Мне и теперь еще

кажется, что трепку, скорее всего, задал бы я, а не этот поскребыш. Но едва я вылез на мостовую, тотчас собралась толпа, из нее вышел какой-то тип, бросился ко мне и заявил, что я последний негодяй и что он не позволит мне ударить человека, который не может слезть с мотоцикла и, следовательно, находится в невыгодном для себя положении. Я повернулся к этому мушкетеру, но, по правде сказать, даже и не увидел его. Едва я повернул голову, как мотоцикл затрещал во всю мочь, а мотоциклист изо всей силы дал мне по уху. Не успел я сообразить, что произошло, как он умчался. Растерявшись, я машинально двинулся к д'Артаньяну, но тут начался отчаянный концерт — за моей машиной уже выстроилась вереница автомобилей. Снова зажегся зеленый свет. И тогда я, все еще растерянный, вместо того чтобы оттаскать дурака, набросившегося на меня, покорно забрался в машину и поехал, а дурак послал мне вдогонку: «Что, съел?» — и я все еще помню об этом оскорблении.

Вы скажете, что случай пустячный. Разумеется. Но я долго не мог его забыть — вот что важно. Правда, у меня были смягчающие обстоятельства. Меня ударили, я не дал сдачи, но в трусости меня обвинить никто не мог. Я был застигнут врасплох,

на меня налетели с двух сторон, все у меня смешалось, а ревущие гудки довершили мое смятение. И все же я чувствовал себя таким несчастным, словно совершил какой-то бесчестный поступок. Мне все вспоминалось, как я влезаю в свой автомобиль, ничем не ответив на оскорбление, и меня провожают насмешливые взгляды столпившихся зевак, восхищенных моим унижением, тем более что на мне был очень элегантный светло-синий костюм. Мне все слышалось: «Что, съел?» — возглас, совершенно оправданный положением. Я сел в лужу, публично сдрейфил. Правда, так сложились обстоятельства, но ведь обстоятельства всегда существуют. Задним числом я прекрасно соображал, что мне следовало сделать. Коротким боксерским ударом сбить с ног д'Артаньяна, вскочить в автомобиль, помчаться вдогонку за тем сморчком, который ударил меня, настигнуть его, прижать его мотоцикл к тротуару, оттащить нахала в сторонку и задать ему заслуженную взбучку. Сто раз прокручивал в своем воображении этот коротенький фильм, с некоторыми вариантами. Но ничего не поделаешь — поздно! Несколько дней я был в отвратительном настроении.

Смотрите, опять дождь. Давайте постоим под

воротами. Прекрасно. Так на чем же я остановился? Да, на защите чести! И вот, вспоминая об этом происшествии, я понял его значение. В общем, мои мечтания не выдержали испытания действительностью. Мне казалось, что я человек полноценный, что я всегда заставлю публику уважать себя и как личность, и как профессионала. Наполовину Сердан,[9] наполовину де Голль,[10] если угодно. Короче говоря, я хотел господствовать во всем. Поэтому я рисовался, кокетничал, показывал больше физическую ловкость, нежели интеллектуальные дарования. Но после того, как мне публично дали по уху и я не ответил, было уже невозможно держаться о себе прежнего лестного мнения. Если б я действительно был служителем правды и разума, как я это мнил, разве меня затронуло бы это происшествие, уже позабытое очевидцами? Я бы только досадовал на то, что рассердился из-за пустяков, дал волю гневу и не сумел справиться с неприятными последствиями своей несдержанности. А вместо

---

[9] Примечания: 9

Сердан, Марсель (1916–1949) — французский боксер, чемпион мира в среднем весе (1948).

[10] Примечания: 10

Де Голль, Шарль (1890–1970) — французский военный, политический деятель, Президент Франции в 1959–1969.

этого меня одолевали мечты отомстить обидчику, сразиться с ним и победить. Очевидно, я вовсе не стремился к тому, чтобы стать самым разумным и самым великодушным созданием на земле, а хотел одного: оказаться сильнее всех, хотя бы и прибегнув для этого к самым примитивным средствам. Да ведь по правде сказать, каждый интеллигент (вы же это хорошо знаете) мечтает быть гангстером и властвовать над обществом единственно путем насилия. Однако сие не столь легко, как это можно вообразить, начитавшись соответствующих романов, подобные мечтатели бросаются в политику и лезут в самую свирепую партию. Что за важность духовное падение, если таким способом можно господствовать над миром? Я открыл в своей душе сладостные мечты стать угнетателем.

И по крайней мере мне тогда стало ясно, что я стою на стороне преступников, на стороне обвиняемых, поскольку их преступления не причинили мне ущерба. Их виновность воспламеняла мое красноречие, потому что я не был их жертвой. А если б они угрожали мне, я не только стал бы их судьей, но даже больше — я готов был стать гневливым владыкой, объявить их вне закона и подвергнуть их избиению, пыткам,

поставить их на колени. При таких желаниях, дорогой соотечественник, довольно трудно сохранить веру в свое призвание служить правосудию, защищать вдов и сирот.

Дождь-то все усиливается, значит, времени у нас достаточно, и я, пожалуй, дерзну поведать вам о новом открытии, сделанном мною вслед за этим, когда я порылся в своей памяти. Разрешите? Присядемте на скамью под навесом. Уже сколько столетий голландцы, покуривая трубку, созерцают здесь одну и ту же картину: смотрят, как дождь поливает канал. Я собираюсь рассказать вам довольно сложную историю. На этот раз речь пойдет о женщине. Во-первых, надо отметить, что я всегда имел успех у женщин, даже без больших стараний с моей стороны. Не хочу сказать, что я давал им счастье или они делали меня счастливым. Нет, просто я имел успех. Почти всегда, когда мне этого хотелось, я добивался своего. Женщины находили меня обаятельным, представьте себе! Вы знаете, что такое обаяние? Умение почувствовать, как тебе говорят «да», хотя ты ни о чем не спрашивал. Так и было у меня когда-то. Вас это изумляет? Правда? Да вы не отрицайте. При моей теперешней физиономии ваше удивление вполне естественно. Увы, с

возрастом каждый приобретает тот облик, какого заслуживает. А уж мой-то… Ну да все равно! Факт остается фактом: в свое время меня находили обаятельным и я пользовался успехом.

Я не строил никаких стратегических расчетов, я увлекался искренне или почти искренне. Мое отношение к женщинам было совершенно естественным, непринужденным, легким, как говорится. Я не прибегал к хитрости — разве только к той, явной, упорной, которую женщины считают честью для себя. Я их любил — по общепринятому выражению, то есть никогда не любил ни одну. Я всегда находил презрение к женщинам вульгарным, глупым и почти всех женщин, которых знал, считал лучше себя. Однако хоть я и ставил их высоко, я чаще пользовался их услугами, чем служил им. Как тут разобраться?

Конечно, истинная любовь — исключение, встречается она два-три раза в столетие. А в большинстве случаев любовь — порождение тщеславия или скуки. Что касается меня, то я, во всяком случае, не был героем «Португальской

монахини».[11] У меня совсем не черствое сердце, наоборот, сердце, полное нежности, и я легко плачу. Только мои душевные порывы и чувство умиленности бывают обращены на меня самого. В конце концов нельзя сказать, что я никогда не любил. Нет, одну неизменную любовь питал я в своей жизни — предметом ее был я сам. Если посмотреть с этой точки зрения, то после неизбежных трудностей, естественных в юном возрасте, я быстро понял суть дела: чувственность, и только чувственность, воцарилась в моей любовной жизни. Я искал только наслаждений и побед. Кстати сказать, мне тут помогала моя комплекция: природа была щедра ко мне. Я этим немало гордился и уж не могу сказать, чему я больше радовался — наслаждениям или своему престижу. Ну вот, вы, наверно, скажете, что я опять хвастаюсь. Пусть это хвастовство, но гордиться мне тут нечем, хоть все это истинная правда.

Во всяком случае, чувственность (если уж го-

---

[11] Примечания: 11

«Португальская монахиня» («Письма португальской монахини») — собрание пяти любовных писем португальской монахини Марии Алкофорадо своему неверному возлюбленном графу де Шамильи; опубликованные на французском (1669) якобы в переводе графа де Гийерага (1628–1685), ныне считаются художественным произведением, принадлежащим его перу.

ворить только о ней) была во мне так сильна, что ради десятиминутного любовного приключения я отрекся бы от отца и матери, хоть потом и горько сожалел бы об этом. Да что я говорю! Главная-то прелесть и была в мимолетности, в том, что роман не затягивался и не имел последствий. У меня, разумеется, были нравственные принципы, например: жена друга священна. Но весьма искренне и простодушно я за несколько дней до решающего события лишал своей дружбы обманутого мужа. Чувственность. А может быть, не следует это так называть? В чувственности самой по себе нет ничего отталкивающего. Будем снисходительны и лучше уж назовем уродством прирожденную неспособность видеть в любви что-либо иное, кроме некоего акта. Уродство это было для меня удобным. В сочетании с моей способностью оно обеспечивало мне свободу. А кроме того, сообщая мне выражение гордой отчужденности и бесспорной независимости, оно давало мне шансы на новые победы. Я не отличался романтичностью, но был героем многих романов. Право, у наших возлюбленных есть кое-что общее с Бонапартом: они всегда думают одержать победу там, где все терпели поражение.

В отношениях с женщинами я, впрочем, искал не только удовлетворения своей чувственности — это была для меня также игра. В женщинах я видел партнеров своеобразной игры, где они как будто защищали свое целомудрие. Видите ли, я не выношу скуки и ценю в жизни только развлечения. Самое блестящее общество быстро надоедает мне, но мне никогда не бывает скучно с женщинами, которые мне нравятся. Стыдно признаться, но я отдал бы десять бесед с Эйнштейном за первое свидание с хорошенькой статисткой. Правда, на десятом свидании я стал бы вздыхать об Эйнштейне или о серьезной книге. В общем, высокие проблемы интересовали меня лишь в промежутках между любовными приключениями. И сколько раз бывало, что, остановившись с друзьями на тротуаре, я вдруг терял нить мысли в горячем споре только потому, что в эту минуту через улицу переходила какая-нибудь обольстительница.

Итак, я вел игру. Я знал, что женщины не любят, когда к цели идут слишком быстро. Сначала нужны были словесные упражнения, нежность, как они говорят. Меня не затрудняли ни разговоры, поскольку я адвокат, ни пронзительные взгляды, ибо на военной службе я участвовал в драматиче-

ском кружке. Роли я менял часто, но, по сути дела, пьеса была одна и та же. У меня был коронный номер: непостижимое влечение, «что-то такое» непонятное, беспричинное, неодолимое, хотя я бесконечно устал от любви, и так далее — очень старая роль в моем репертуаре, но всегда производившая впечатление. Был еще и другой номер: таинственное блаженство, которого не давала мне еще ни одна женщина; быть может, и даже наверное, миг счастья будет очень кратким (надо же обезопасить себя), но ничто не может с ним сравниться. А главное, я отработал небольшую тираду, всегда встречавшую благосклонный прием. Я уверен, что она и вам понравится. Суть этой тирады в горьком и смиренном признании, что я ничтожество, пустой человек и не стою женской привязанности, что я никогда не знал простого, бесхитростного счастья, быть может, я предпочел бы его всему на свете, но теперь уж поздно. О причинах этого непоправимого загадочного запоздания я умалчивал, зная, как выгодно окутывать себя тайной. В некотором смысле я верил тому, что говорил, — я вживался в роль. Неудивительно, что и мои партнерши тоже спешили выйти на сцену. Самые чувствительные из моих подруг пытались «понять меня» и пре-

давались меланхолическим излияниям. Другие же, довольные тем, что я соблюдаю правила игры и до начала атаки деликатно задерживаюсь на разговорах, иной раз сами переходили в наступление. Для меня это был двойной выигрыш: я не только мог тогда утолить свое вожделение, но и насладиться чувством удовлетворенной любви к самому себе, убеждаясь всякий раз в своей власти.

И если даже случалось, что некоторые мои партнерши доставляли мне лишь посредственное удовольствие, я время от времени назначал им свидания — этому способствовало вдруг вспыхнувшее желание, которое обостряла разлука, и готовность отозваться на него, загоравшаяся в моей прежней сообщнице; мне хотелось убедиться, что связь наша не порвана окончательно: стоит мне только пожелать, и она возобновится. Иной раз я брал с женщин клятвенное обещание не принадлежать никому другому, кроме меня, — так меня это беспокоило. Но ни сердце, ни воображение не участвовали в этой игре. Самодовольство, укоренившееся во мне, не допускало вопреки очевидности, чтобы женщина, принадлежавшая мне, могла когда-нибудь принадлежать другому. Впрочем, клятва, которой я требовал, связывала

только женщину, а мне предоставляла свободу. Покинутая мною не будет принадлежать никому, значит, можно разорвать с нею, а иначе это почти всегда было просто немыслимо. Что касается женщин, то проверкой раз и навсегда были установлены прочность и длительность моей власти над ними. Любопытно? А ведь это сущая правда, дорогой соотечественник. Одни кричат: «Люби меня!», другие: «Не люби меня!» А есть такая порода людей, самая скверная и самая несчастная, которая требует: «Не люби меня и будь мне верна».

Только вот в чем дело: проверка никогда не бывает окончательной, ее надо возобновлять с каждой новой возлюбленной. Повторяешь, повторяешь — и создается привычка. Вскоре уже говоришь, не думая, уже вырабатывается рефлекс, и в один прекрасный день добиваешься обладания, не чувствуя по-настоящему влечения. Поверьте, для некоторых людей отказаться от обладания тем, чего они вовсе и не желают, труднее всего на свете.

Так со мною и случилась однажды неприятность, а не лишним будет сказать, что женщина эта не очень волновала меня, но мне нравился ее облик, в котором было что-то покорное и

жаждущее. Откровенно говоря, удовольствие оказалось посредственным, как и следовало ожидать. Но я никогда не страдал никакими комплексами и быстро забыл эту особу, с которой решил больше не встречаться. Я думал, что она ничего не заметила, мне даже и на ум не приходило, что у нее может быть свое мнение на этот счет: ведь она была так скромна, так не походила на других женщин. Но через некоторое время я узнал, что она доверительно рассказала третьим лицам о недостаточной моей мужественности. Меня кольнуло чувство обиды, как будто я стал жертвой обмана: она оказалась не такой уж пассивной, как я думал, и могла судить о подобных вещах. Однако я пожал плечами и притворно рассмеялся. Нет, я рассмеялся искренне, слишком уж был незначителен этот случай. Если есть сфера, где скромность должна считаться правилом, то это именно сексуальная жизнь со всеми ее неожиданностями, не правда ли? Так ведь нет, каждый хочет перещеголять других, даже в мыслях, наедине с собой. И несмотря на то, что я пожал плечами, знаете, как я себя повел? Немного позднее встретился с этой женщиной, сделал все, чтобы ее пленить, и снова овладел ею. Это было не очень трудно: женщины тоже

не любят разочарований. И с тех пор я почти непроизвольно принялся всячески терзать ее. Я бросал ее и вновь привлекал к себе, принуждал ее отдаваться мне в неподходящее время и в неподходящем месте, всегда и во всем обращался с нею так грубо, что в конце концов даже привязался к ней, как, думается, тюремщик бывает привязан к заключенному. И так длилось до тех пор, пока она в бурном порыве болезненной и вынужденной страсти откровенно воздала хвалу тому, что ее порабощало. С того дня я стал удаляться от нее. А потом и вовсе забыл.

Несмотря на ваше вежливое молчание, я согласен с вами, что в этом любовном приключении моя роль не из красивых. Но обратитесь к своей собственной жизни, дорогой соотечественник! Покопайтесь в воспоминаниях, может быть, вы найдете среди них подобную же историю и позднее расскажете ее мне. Что касается меня, то, когда это приключение вспоминалось мне, я всегда смеялся. Но уже иным смехом, похожим на тот, который я услышал на мосту Искусств. Я смеялся над своим краснобайством и своими речами в суде. Даже больше над своими судебными речами, чем над краснобайством с женщинами. Им-то я по крайней мере лгал очень мало. Во всем

моем поведении так ясно, без уверток говорил инстинкт. Любовный акт, например, ведь это признание. Тут и голый эгоизм, тут и тщеславие, а иной раз подлинное великодушие. Право же, в этой плачевной истории еще больше, чем в других моих романах, и больше, чем я думаю, я был откровенным, ибо ясно показал, кто я такой и как я мог бы жить. Но даже тогда — нет, именно тогда, когда я вел себя так, как рассказал сейчас, — в моей личной жизни было больше достоинства, чем в моих высокопарных адвокатских разглагольствованиях о невиновности и правосудии. По крайней мере, вглядываясь в свое поведение с женщинами, я не мог обманываться насчет истинной сути моей натуры. Человек никогда не бывает лицемером в своих удовольствиях, где-то я вычитал такую мысль или же сам до нее додумался. Верно сказано, дорогой соотечественник?

Когда я вспоминаю, с каким трудом мне удавалось окончательно порвать с женщиной — с таким трудом, что у меня из-за этого бывало по нескольку связей одновременно, — я отнюдь не приписываю это нежности своего сердца. Вовсе не она руководила мною, когда одна из моих возлюбленных, устав ждать Аустерлица нашей страсти, собиралась ретироваться. Тотчас же

я раскрывал ей объятия, делал всевозможные уступки, становился красноречив. Я пробуждал в ней нежность и сладостное умиление, а сам испытывал эти чувства лишь по видимости, был только немного взволнован угрозой разрыва и утраты женской привязанности. Правда, иной раз мне казалось, что я действительно страдаю. Но стоило мятежнице расстаться со мной, как я без труда забывал о ней; впрочем, я помнил о ней ничуть не больше, если она решалась вернуться. Нет, не любовь и не великодушие подстегивали меня, когда мне грозила опасность оказаться покинутым, а только желание быть любимым и получать то, что, по моему мнению, мне полагалось по праву. Убедившись, что я любим, я вновь забывал о своей партнерше, зато сам сиял, приходил в прекрасное настроение и снова становился обаятельным.

Заметьте, кстати, что вновь завоеванная привязанность тяготила меня. В минуты досады я говорил себе тогда, что идеальным выходом была бы смерть увлекшейся мною женщины. Смерть, во-первых, окончательно скрепила бы наши узы, а во-вторых, избавила бы ее от всякого принуждения. Но ведь нельзя желать всем смерти и уничтожить в конце концов население нашей

планеты для того, чтобы воспользоваться неограниченной свободой, которая иначе немыслима. Против такого метода восставала моя чувствительность и моя любовь к людям.

Единственное глубокое чувство, которое мне случалось испытывать во всех этих любовных интригах, была благодарность, если все шло хорошо, если меня оставляли в покое и давали мне полную свободу действий. Ах, как я бывал любезен и мил с женщиной, если только что побывал в постели другой, я словно распространял на всех остальных признательность, которую испытывал к одной из них. Какова бы ни была путаница в моих чувствах, суть их была ясна: я удерживал подле себя своих возлюбленных и друзей для того, чтобы пользоваться их любовью, когда вздумается. Я сам признавал, что мог бы жить счастливо лишь при условии, если на всей земле все люди или по крайней мере как можно больше людей обратят взоры на меня, никогда не узнают иной привязанности, не узнают независимости, готовые в любую минуту откликнуться на мой призыв, обреченные, наконец, на бесплодие до того дня, когда я удостою обласкать их лучом своего света. В общем, чтобы жить счастливо, мне надо было, чтобы мои избранницы совсем

не жили. Они должны были получать частицу жизни лишь время от времени и только по моей милости.

Ах, поверьте, мне совсем не доставляет удовольствия рассказывать об этом. Стоит мне вспомнить о той полосе моей жизни, когда я требовал всё и ровным счетом ничего не давал взамен, когда я заставлял многих и многих людей служить мне, а их самих как будто прятал в холодильник, чтобы они всегда были под рукой и я мог бы ими пользоваться по мере надобности, право, уж и не знаю, как назвать то любопытное чувство, которое возникает тогда у меня. Может быть, это стыд? Скажите, дорогой соотечественник, ведь стыд немного жжет душу, верно? Тогда это, пожалуй, стыд или одна из тех нелепых эмоций, которые касаются чести. И во всяком случае, мне кажется, что это чувство не покидало меня с того приключения, которое гвоздем засело у меня в памяти. Я должен рассказать о нем, больше я не могу оттягивать, несмотря на все свои отступления, а в них я проявил столько старания, столько изобретательности, что, надеюсь, вы воздадите мне должное.

Смотрите-ка, дождь перестал! Будьте так любезны, проводите меня до дому. Я устал. Странное

дело, устал не оттого, что много говорил, но от одной мысли о том, что мне еще предстоит рассказать. Ну, начнем. Восстановим в нескольких словах главное мое открытие. Буду краток. Зачем много говорить об этом? Долой покровы, которыми закрывают нагую статую, прочь пышные речи! Так вот. Однажды в ноябрьскую ночь года через три после того вечера, когда мне показалось, что кто-то смеется за моей спиной, я возвращался домой по левому берегу Сены и пересек ее по Королевскому мосту. Был час ночи. Моросил мелкий дождь, скорее, изморось, разогнавшая редких прохожих. Я возвращался от своей любовницы, которая, наверное, уже уснула. Мне было хорошо, я чувствовал легкую усталость, успокоенное тело согревала кровь, пробегавшая по жилам неслышно, как этот осенний дождик. На мосту кто-то стоял, перегнувшись через перила, как будто смотрел на реку. Подойдя ближе, я увидел, что это молодая тоненькая женщина, вся в черном. Между черными ее волосами и воротником пальто видна была полоска шеи, беленькой, мокрой от дождя шейки, и это немного взволновало меня. Я на мгновение замедлил шаг, но тут же одернул себя и двинулся дальше. Спустившись с моста на набережную, я двинулся по направле-

нию к бульвару Сен-Мишель, на котором жил. Я прошел уже метров пятьдесят и вдруг услышал шум, показавшийся мне оглушительным в ночной тишине, — шум падения человеческого тела, рухнувшего в воду. Я замер на месте, но не обернулся. И тотчас же раздался крик. Он повторился несколько раз и как будто спускался вниз по течению, но внезапно оборвался. Молчание, наступившее вслед за тем в застывшем мраке, показалось мне бесконечным. Я хотел побежать и не мог пошевелиться. Я весь дрожал от холода и волнения. Я говорил себе: «Надо скорее, скорее» — и чувствовал, как непреодолимая слабость сковала меня. Не помню уж, что я думал тогда: «Слишком поздно, слишком далеко» — или что-то вроде этого. Я стоял неподвижно, прислушивался. Потом медленно двинулся дальше. И никому ни о чем не сообщил.

Но вот мы и пришли, вот мой дом, мое убежище! Завтра? Хорошо, как хотите. Охотно повезу вас на остров Маркен,[12] посмотрите на Зейдерзе. Встретимся в одиннадцать часов утра в «Мехико-Сити». Что? Та женщина? Не знаю, честное слово, не знаю. На другой день и еще несколько дней я

[12] Примечания: 12

Остров Маркен — остров неподалеку от Амстердама, туристический центр.

не читал газет.

Кукольная деревня, не правда ли? И довольно живописная! Но я привез вас на этот остров не ради его живописности, дорогой друг. Каждый мог бы показать вам эти прелестные чепцы, деревянные башмаки и расписные дома, где сидят рыбаки и курят хороший табак, а в комнате пахнет воском. Нет, я один из тех редких людей, кто может показать вам то, что здесь действительно стоит посмотреть.

Мы с вами подходим к плотине. Надо идти по ней, идти как можно дальше от этих хорошеньких домиков. Давайте теперь присядем. Ну, что скажете? Самый унылый из всех унылых пейзажей. Посмотрите: налево — что-то вроде груды золы, именуемой здесь дюной; направо — серая плотина, у наших ног белесый песчаный берег, перед нами — море, такого же цвета, как вода в корыте, чуть-чуть подкрашенная синькой, а над этими бледными водами раскинулось широкое небо. Какой-то вялый ад, право! Линии только горизонтальные, ни одного яркого пятна, бесцветное пространство, мертвая жизнь. Все стерто, затушевано, перед глазами образ небытия. Нет людей, главное — нет людей! Только вы и я, и перед нами опустевшая наконец планета. А небо

живет еще? Да-да, вы правы, дорогой друг. Оно становится плотным от туч, потом в нем образуются провалы, отворяются врата облаков, видны ступени воздушных лестниц. Там голуби. Вы не заметили, что небо в Голландии заполонили миллионы голубей, невидимых голубей — так высоко они летают; они машут крыльями, поднимаются и спускаются все вместе, наполняют небесное пространство волнами сероватых перьев, и ветер то уносит их, то мчит обратно. Голуби ждут там, наверху, ждут весь год. Они кружат над землей, смотрят, хотят спуститься. Но ведь внизу нет ничего — только море и каналы, крыши, и на них вывески, и ни одной головы, на которой птица могла бы пристроиться.

Вы не понимаете, что я хочу сказать? Признаться, устал я. Теряю нить, путаюсь в словах, уже нет той ясности мысли, за которую прославляли меня друзья. Впрочем, это я из принципа говорю «друзья». Друзей у меня нет, а только сообщники. Зато число их умножилось — весь род человеческий, и среди них вы — первый. Откуда я знаю, что у меня нет друзей? Да очень просто: открыл этот факт, когда вздумал было покончить с собой, чтобы сыграть с ними злую шутку и в некотором роде наказать их. Но кого тут наказывать? Кое-кто был

бы изумлен, и только, а наказанным никто бы себя не чувствовал. Я понял, что у меня не было друзей. Да если б у меня и были друзья, что мне от этого? Если бы я мог, покончив с собой, увидеть, какие у них будут физиономии, тогда да, игра стоила бы свеч. Но в земле темно, гробовые доски толстые, саван не прозрачный. Вот если бы глазами души удалось увидеть. Да существует ли она, эта душа, и есть ли у нее глаза? Увы, в этом нет уверенности и никогда не было. А иначе нашелся бы выход из положения, можно было бы наконец заставить людей всерьез отнестись к тебе. Ведь убедить их в твоей правоте, в искренности, в мучительных твоих страданиях можно только своей смертью. Пока ты жив, ты, так сказать, сомнительный случай, ты имеешь право лишь на скептическое к тебе отношение. Вот если бы имелась уверенность, что можно будет самому насладиться зрелищем собственной смерти, то стоило бы труда доказать им то, чему они не желали верить, и удивить их. А так что же? Ты покончишь с собой, и тогда не все ли равно, верят тебе они или нет? Ты уже не существуешь, не видишь, кто изумлен, кто сокрушается (недолго, конечно), — словом, не сможешь присутствовать, как о том мечтает каждый, на собственных своих

похоронах. Чтобы не давать повод к сомнениям, нужно просто-напросто умереть.

А может, это и хорошо, что мы ничего не увидим? Нам было бы слишком больно от их равнодушия. «Ты за это поплатишься!» — сказала одна девушка своему отцу, не позволившему ей выйти замуж за какого-то прилизанного хлыща. И покончила с собой. Но отец нисколько не поплатился. Он обожал рыбную ловлю со спиннингом. Через три недели он уже поехал на рыбалку, «чтобы забыться», как он сказал. Отец верно рассчитал — он забыл покойную дочь. По правде говоря, удивляться можно было бы, если бы случилось обратное. Или вот — человек решил умереть, дабы наказать жену, а на деле — возвратил ей свободу. Так лучше уж не видеть всего этого. Да еще ты рисковал бы услышать, какими причинами объясняют твое самоубийство. Что касается меня, я уже заранее знаю: «Он покончил с собою, потому что не мог вынести...» Ах, дорогой мой, как люди недогадливы, какое у них скудное воображение. Они всегда думают, что человек кончает с собой по какой-нибудь одной причине. Но ведь вполне возможно иметь для самоубийства две причины. Нет, это им и в голову не приходит. Так для чего кончать счеты

с жизнью, добровольно приносить себя в жертву, пытаясь создать о себе определенное представление! Ты умрешь, а они воспользуются случаем и выдумают идиотские или вульгарные причины твоей смерти. Мученикам, дорогой друг, надо выбирать между забвением, насмешками или использованием их смерти в каких-нибудь целях. А чтобы их поняли?.. Да никогда!

Будем идти прямо к цели. Я люблю жизнь — вот моя подлинная слабость. Так люблю жизнь, что не могу вообразить себе ничего, находящегося за ее пределами. В этой жадности к жизни есть что-то плебейское, вы не находите? Аристократия смотрит на себя и на свою жизнь немножко со стороны. Если понадобится, аристократ умрет, он скорее уж сломается, чем согнется. А я сгибаюсь, потому что все еще люблю себя. Вот после всего услышанного вами как вы думаете, что со мной сталось? Почувствовал я отвращение к себе? Нисколько! Отвращение я почувствовал к другим. Конечно, я знал свои прегрешения и сожалел о своих слабостях и, однако ж, по-прежнему с похвальным упорством забывал их. Зато суд над другими людьми непрестанно шел в моем сердце. Вас это, конечно, коробит? Вы, вероятно, думаете, что это нелогично. Но вопрос тут не в логике.

Тут вопрос в том, чтобы как-нибудь ускользнуть, да, главное — увернуться от суда. Я не говорю — ускользнуть от наказания. Наказание без суда можно перенести. У него есть название, гарантирующее нашу невиновность, — несчастье. Нет, речь идет о том, чтобы избежать суда, избежать придирчивого судебного разбирательства, сразу его прервать, чтобы приговор никогда не был вынесен.

Но избежать суда не так-то легко. Нынче мы всегда готовы и судить и блудить. С той только разницей, что в первом случае нам нечего бояться неудачи. Если сомневаетесь, прислушайтесь когда-нибудь, о чем говорят за табльдотом в августе месяце на курортах, куда наши сострадательные соотечественники приезжают лечиться от скуки. А если и тогда не решитесь сделать вывод, почитайте произведения наших современных знаменитостей или понаблюдайте, что творится среди вашей собственной родни. Поучительные будут наблюдения. Друг мой, не стоит давать даже самого незначительного повода судить нас. А не то нас растерзают, разорвут на клочки. Нам приходится быть столь же осторожными, как укротителю диких зверей. Если он, по несчастью, порезался бритвой, перед тем как войти в

клетку к хищникам, он станет для них лакомым кусочком. И я сразу угадал опасность в тот день, как у меня возникло подозрение, что я не такое уж восхитительное создание. С тех пор я стал недоверчив. Раз у меня чуточку вытекло крови, мне конец — всего сожрут!

Мои отношения с современниками внешне оставались прежними, но понемножку расстраивались. Приятели мои не изменились. Они всегда при случае восхваляли то чувство душевной гармонии и надежности, которое они испытывали близ меня. Однако сам-то я замечал лишь диссонансы в своей душе, лишь хаотическую сумятицу; я чувствовал себя уязвимым, отданным во власть общественного мнения. Люди уже не казались мне почтительной аудиторией слушателей, к которой я привык. Круг, центром которого являлась моя особа, разорвался, и они разместились теперь в ряд, как судьи в судебном заседании. С той минуты, как я стал опасаться, что за некоторые вещи можно меня и осуждать, я, в общем, понял, какое у них неодолимое стремление судить. Да, вот они передо мною, как и раньше, но они смеются. Вернее, мне казалось, что каждый встречный смотрит на меня с затаенной усмешкой. В ту пору у меня даже было такое

впечатление, будто им хочется подставить мне подножку. Два-три раза я и в самом деле спотыкался без всякой причины, входя в какое-нибудь общественное место. Один раз даже растянулся у порога. Француз-картезианец, каковым я могу себя назвать, быстро взял себя в руки и приписал эти происшествия божеству, доступному нашему рассудку, то есть случайности. Все равно недоверчивость меня не покидала.

Поскольку внимание мое обострилось, я без труда открыл, что у меня есть враги. Во-первых, в судейских кругах, а во-вторых, в светских. Одних раздражало, что они обязаны мне какой-нибудь услугой. Другие же полагали, что я обязан был оказать им услугу и не сделал этого. Все это было, конечно, в порядке вещей, и подобные открытия не очень огорчали меня. Куда труднее и печальнее было допустить, что у меня есть враги среди людей, едва мне знакомых и даже совсем незнакомых. По своему простодушию, которое вы, вероятно, заметили во мне, я полагал, что люди незнакомые непременно полюбят меня, если ближе со мной познакомятся. Но представьте себе, нет! Больше всего враждебности я встречал среди тех, с кем имел только шапочное знакомство и сам хорошенько их не знал. Они,

несомненно, подозревали, что я живу в полное свое удовольствие, без помех предаваясь счастью, а это не прощается. Облик счастливца, удачника, особенно когда в нем проступают черты самодовольства, может взбесить даже осла. Кроме того, я жил такой полной жизнью, так мало у меня было времени, что я отвергал попытки многих сблизиться со мной. И по той же причине я с легкостью забывал об этом. Но ведь попытки к сближению делали люди, которые не жили полной жизнью, и уж они-то помнили, что я отверг их.

Таким образом (возьмем один пример), женщины в конечном счете дорого стоили мне. Время, которое я посвящал им, я не мог отдавать мужчинам, а они не всегда мне это прощали. Как тут быть? Счастье и успехи тебе прощают лишь при том условии, что ты великодушно соглашаешься разделить их с другими. Но раз хочешь быть счастливым, ты не можешь чересчур заботиться о других. Положение безвыходное. Будь счастлив и судим или не знай осуждения и будь горемыкой. А ко мне относились еще более несправедливо: меня осуждали за прошлое мое счастье. Я долго жил в иллюзии всеобщего согласия, тогда как со всех сторон в меня, рассеянного, улыбающегося счастливца, недруги метали осуждающие

взгляды и стрелы насмешек. В тот день, когда я услышал сигналы тревоги, я вдруг прозрел, почувствовал все нанесенные мне раны и сразу лишился сил. Весь мир принялся смеяться надо мной.

А ведь такого издевательства не может вынести ни один человек (кроме мудрецов, то есть тех, кто не живет). Единственный отпор — это злоба. И тогда люди спешат осудить тебя, чтобы самим не подвергнуться осуждению. Ну что вы хотите? Самая естественная и самая наивная мысль, которая приходит человеку как бы из глубины его естества, — это мысль, что он не виновен. С этой точки зрения мы все подобны тому французскому мальчику, который в Бухенвальде упорно хотел подать жалобу писцу (тоже из числа заключенных), заносившему его имя в список узников. Жалобу? Писарь и его товарищи засмеялись: «Бесполезно, милый мой. Здесь жалоб не принимают». «Но видите ли, мсье, — говорил маленький француз, — у меня исключительный случай. Я не виновен!»

Мы все — исключительные случаи. Все мы хотим апеллировать по тому или иному поводу. Каждый требует, чтобы его признали невиновным во что бы то ни стало, даже если для этого

надо обвинить весь род людской и небо. Вы очень мало обрадуете человека, расхвалив его за те великие усилия, благодаря которым он стал интеллигентным или великодушным. Но зато как он засияет, если вы будете восхищаться его природным великодушием. И наоборот, если вы скажете преступнику, что его преступление не зависит ни от его натуры, ни от его характера, а от несчастных обстоятельств его жизни, он вам будет бесконечно благодарен. Во время вашей защитительной речи он как раз выберет ту минуту, когда вы говорите про эти обстоятельства, и расплачется. А ведь нет никакой заслуги во врожденной честности или природном уме. Не возрастает, конечно, и ответственность за преступление, если оно совершено в силу преступной натуры его виновника, а не в силу обстоятельств. Но эти мошенники требуют помилования, то есть безответственности, и бесстыдно ссылаются в свое оправдание то на свою натуру, то на смягчающие обстоятельства, даже если одно другому и противоречит. Для них главное, чтобы их признали невиновными, не подвергали сомнению их врожденные добродетели, а их грехи сочли бы следствием несчастного стечения обстоятельств, временной бедой. Я вам говорил: главное

— отвертеться от суда. А поскольку это нелегко, — вызвать восхищение собой и в то же время найти оправдание своей натуре дело весьма затруднительное, — все они жаждут богатства. Почему? Вы задумывались над этим? Богатство — это могущество, правильно. Но важнее тут другое: богатство избавляет от немедленного суда, извлекает вас из толпы, осаждающей вагоны метро, и дает вам блещущий никелем автомобиль, изолирует вас в обширных, бдительно охраняемых парках, в спальных вагонах и пароходных каютах-люкс. Богатство, дорогой друг, — это еще не оправдание преступника, но отсрочка, и то уж хорошо…

Главное — не верьте вашим друзьям, когда они будут просить вас говорить с ними вполне откровенно. Они просто надеются, что своим обещанием ничего от них не скрывать вы поддержите их высокое мнение о себе самих. Да разве откровенность может быть условием дружбы? Стремление установить истину любой ценой — это страсть, которая ничего не пощадит и которой ничто противиться не может. Это даже порок, весьма редко чрезмерное правдолюбие бывает удобным, чаще всего это эгоизм. Так вот, если вы окажетесь в таком положении, не задумывайтесь: обещайте быть правдивым и лгите

без зазрения совести. Вы удовлетворите желание друзей и докажете им свою привязанность.

Это бесспорная истина, недаром же мы редко доверяемся тем, кто лучше нас. Скорее уж мы избегаем их общества. Чаще всего мы исповедуемся тем, кто похож на нас и разделяет наши слабости. Мы вовсе не хотим исправляться, не стремимся к самоусовершенствованию: прежде всего нужно, чтобы нас судили со всеми нашими слабостями. Нам хочется, чтобы нас пожалели и поддержали дух наш. В общем, мы хотели бы и не считаться виновными, и не стараться очиститься. В нас недостаточно цинизма и недостаточно добродетели. У нас нет ни силы зла, ни силы добра. Вы читали Данте? Правда? Вот черт! Вы, стало быть, знаете, как это у Данте? Ведь он допускает, что ангелы были нейтральными в распре между Богом и Сатаной. Он отводит им место в преддверии, так сказать в вестибюле своего ада. Мы с вами в вестибюле, дорогой друг.

Терпение? Вы, разумеется, правы. Нужно набраться терпения и ждать Страшного суда. Но, к несчастью, нам некогда, мы торопимся. Так торопимся, что мне даже пришлось стать судьей на покаянии. Однако мне сначала нужно было привести в порядок свои открытия и уладить

дело с насмешками моих современников. С того вечера, когда меня позвали к ответу — а ведь меня действительно позвали, — я обязан был ответить или по крайней мере поискать ответ. Это оказалось нелегко. Я долго блуждал наугад. Но этот постоянный хохот и насмешки научили меня яснее разбираться в себе и увидеть наконец, что я совсем не прост. Вы не улыбайтесь, эта истина не так уж элементарна, как кажется. Элементарными называют такие истины, которые человек открывает последними, — вот и все.

Как бы там ни было, но после долгого изучения самого себя я установил глубокую двуликость человеческой природы. Порывшись в своей памяти, я понял тогда, что скромность помогла мне блистать, смирение — побеждать, а благородство — угнетать. Я вел войну мирными средствами и, выказывая бескорыстие, добивался всего, чего мне хотелось. Я, например, никогда не жаловался, что меня не поздравили с днем рождения, позабыли эту знаменательную дату; знакомые удивлялись моей скромности и почти восхищались ею. Но истинная ее причина была скрыта от них: я хотел, чтобы обо мне позабыли. Хотел почувствовать себя обиженным и пожалеть себя. За несколько дней до пресловутой даты,

которую я, конечно, прекрасно помнил, я уже был настороже, старался не допустить ничего такого, что могло бы напомнить о ней людям, на забывчивость которых я рассчитывал (я даже вознамерился однажды подделать календарь, висевший в коридоре). Доказав себе свое одиночество, я мог предаться сладостной, мужественной печали.

Словом, у казовой стороны моих добродетелей всегда была менее привлекательная изнанка. Правда, в известном смысле мои недостатки оборачивались к моей выгоде. Мне, например, приходилось скрывать темные стороны моей жизни, но эта скрытность придавала мне холодный вид, который посторонние принимали за гордость добродетельного человека, мое равнодушие вызывало любовь ко мне, и больше всего мой эгоизм сказывался в «благородных» моих поступках. Я остановлюсь на этом — слишком большая симметрия повредит убедительности. Да что там, я становился закоренелым сластолюбцем и уже не мог отказаться ни от предложенного стакана вина, ни от женщины, меня манившей! Я слыл деятельным, энергичным, но царством моим было любовное ложе. Я кричал о своей честности, а ведь, пожалуй, каждому и каждой

из тех, кого я любил, я в конце концов изменял. Разумеется, мои измены не мешали моей верности профессиональному долгу, при всей моей беспечности я немало трудился: я никогда не переставал помогать ближним, потому что находил в этом удовольствие. Но сколько бы я ни твердил себе эти очевидные истины, они давали мне лишь поверхностное утешение. Иной раз по утрам я подвергал себя строжайшему суду своей совести и приходил к заключению, что главная моя вина в презрении к людям. И больше всего я презирал тех, кому помогал чаще других. Весьма учтиво, с волнением выражая свое сочувствие, я, в сущности, ежедневно плевал в лицо всем встречным слепым.

А есть ли этому какое-нибудь оправдание? Откровенно говоря, есть, но такое ничтожное, что мне просто неудобно указывать на него. Но как бы то ни было, вот оно. Я никогда не мог до конца поверить, что дела, заполняющие человеческую жизнь, — это нечто серьезное. В чем состоит действительно «серьезное», я не знал, но то, что я видел вокруг, казалось мне просто игрой — то забавной, то надоедливой и скучной. Право, я никогда не мог понять некоторых стремлений и взглядов. С удивлением и даже подозрением

смотрел я, например, на странных людей, кончавших с собой из-за денег, приходивших в отчаяние от того, что они лишались «положения», или с важным видом приносивших себя в жертву ради благополучия своей семьи. Мне более понятен был мой знакомый, который вздумал бросить курить и у которого хватило силы воли добиться этого. Однажды утром он развернул газету, прочел, что произведен первый взрыв водородной бомбы, узнал, каковы последствия таких взрывов, и немедленно отправился в табачную лавку.

Конечно, я иногда делал вид, что принимаю жизнь всерьез. Но очень скоро мне становилось ясно, как легковесна эта серьезность, и я продолжал играть свою роль, по мере сил изображая из себя человека деятельного, умного, благородного, исполненного гражданских чувств, сострадательного — словом, примерного… Остановлюсь на этом. Вы, вероятно, уже поняли, что я был вроде голландцев: они рядом с нами, но их здесь нет, так и я — я отсутствовал как раз тогда, когда занимал в жизни особенно большое место. По-настоящему искренним и способным на энтузиазм я был лишь в своих занятиях спортом да еще на военной службе, когда мы в полку ставили пьесы для собственного нашего удовольствия.

В том и другом случаях существовали правила игры, отнюдь не серьезные, но мы потехи ради признавали их обязательными. Даже теперь переполненный до отказа стадион, где происходит воскресный матч, и страстно любимый мною театр — единственные места в мире, где я чувствую себя ни в чем не повинным.

Но кто же счел бы законной такую позицию, когда речь идет о любви, о смерти, о заработной плате неимущих? А что мне было делать? Любовь Изольды[13] я мог представить себе лишь в романах или на сцене. А умирающие порою казались мне актерами, проникшимися своей ролью. Реплики моих неимущих клиентов как будто шли по одному и тому же сценарию. И вот, живя среди людей, но не разделяя их интересов, я не мог верить в серьезность своих обязанностей. Из учтивости и беспечности я отвечал тем требованиям, какие предъявлялись моей профессии, моим родственным и гражданским чувствам, но делал это как-то рассеянно, что в конце концов все портило. Я жил под знаком двойственности,

[13] Примечания: 13

Изольда — героиня средневековой легенды бретонского цикла о Тристане и Изольде; сюжет излагается во множестве романных версий — как современных легенде, так и позднейших — и опере Вагнера (1859).

и самые важные мои поступки зачастую были самыми необдуманными. Не потому ли я вдобавок ко всем своим глупостям не мог простить себя, хотя и с яростью восставал против суда своей совести и суда окружающих, который я чувствовал и который заставлял меня искать какого-нибудь выхода.

Некоторое время моя жизнь с внешней стороны шла так же, как и раньше, словно ничего в ней не изменилось. Она катилась все по тем же рельсам. И как нарочно, вокруг меня все громче звучали восхваления. Вот откуда пришла беда! Помните? «Горе вам, когда все будут хвалить вас!»[14] Право, золотые слова! Горе мне и было! Двигатель что-то закапризничал, неизвестно почему, машина останавливалась.

И как раз в это время в мою повседневную жизнь ворвалась мысль о смерти. Я высчитывал, сколько лет еще остается мне до конца. Искал примера, когда умирали люди моего возраста. И меня мучили мысли, что я не успею выполнить свою задачу. Какую задачу? Я и сам не знал. Откровенно говоря, стоило ли труда продолжать

---

[14] Примечания: 14

«Горе вам, когда все будут хвалить вас!» — Евангелие от *Луки*, VI, 26: «Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с лжепророками отцы их».

то, что я делал? Но вопрос не совсем в этом. В действительности меня преследовал нелепый страх: а что, если я умру, не признавшись во всех своих обманах и лжи? Нет, надо признаться, конечно, не богу или одному из его служителей. Вы же понимаете, я был выше этого. Нет, надо признаться людям, например своему другу или любимой женщине. Если утаить хоть один обман, он со смертью человека навеки останется нераскрытым. Никогда никто не узнает правды, потому что единственный, кто ее знал, умер, почил вечным сном и унес с собой свою тайну. От мысли о такой бесповоротной гибели правды у меня кружилась голова. Нынче, скажу между прочим, подобное убиение истины скорее доставило бы мне изысканное удовольствие. Меня радует, например, уверенность, что только я один знаю то, что старается разгадать весь мир, — ведь у меня спрятана вещь, которую долго и тщетно разыскивала полиция трех стран. Но в то время я еще не нашел рецепта душевного спокойствия и очень мучился.

Конечно, я одергивал себя. Подумаешь, важность — ложь одного человека в истории многих поколений, и что за претензия пролить свет истины на жалкий обман, затерявшийся в океане

веков, как крупинка соли в море! Я говорил себе также, что физическая смерть, если судить по тем случаям, свидетелем которых я был, уже сама по себе достаточная кара, дающая отпущение всех грехов. Ценою предсмертных мук человек получает спасение (то есть право исчезнуть окончательно). Но все равно мое тяжелое настроение все усиливалось, мысли о смерти преследовали меня неотступно, я просыпался и засыпал с ними, и похвалы окружающих становились для меня все более невыносимыми. Мне казалось, что вместе с ними возрастает и становится безмерной моя ложь и мне уже никак не справиться с ней.

Настал день, когда я не мог больше этого выдержать. Первая моя реакция была беспорядочной. Раз я лгун, я должен показать это, должен бросить мою двуличность в лицо всем этим дуракам, пока они сами ее не обнаружили. Раз истина вызывает меня на поединок, я готов принять бой. Чтобы предотвратить насмешки, я сам обращу себя во всеобщее посмешище. Словом, надо было прервать суд. Я хотел привлечь насмешников на свою сторону или уж по крайней мере самому встать на их сторону. Я задумал, например, толкать слепых на улице, и глухая, совсем нежданная радость, которую я испытывал, замышляя это,

показала мне, до какой степени я в глубине души ненавидел их; мне хотелось протыкать шины маленьких автомобильчиков, какие делают для калек, или встать, например, под строительными лесами, на которых работают каменщики и штукатуры, и заорать: «Мерзкая голытьба!», надавать пощечин маленьким детям в вагоне метро. Но я только мечтал о подобных делах и ничего такого не делал, а если и делал что-либо похожее, то забывал про свои выходки. Во всяком случае, само слово «правосудие» приводило меня в удивительную ярость. Я поневоле употреблял его, как и прежде, в своих защитительных речах. Но в наказание себе публично проклинал дух гуманности; я возвестил, что скоро выпущу манифест, в котором разоблачу угнетенных, доказав, что они угнетают порядочных людей. Однажды, когда я ел лангуста на террасе ресторана, меня разозлил надоедливый нищий, я позвал хозяина, попросил его прогнать нищего и с удовлетворением слушал речь этого исполнителя казни. «Вы ведь всех стесняете, — говорил он. — Ну в конце концов, поставьте себя на место приличных господ», — убеждал он нищего. Я говорил всякому встречному и поперечному, как мне жаль, что теперь уж нельзя поступать подобно некоему

русскому помещику, восхищавшему меня своим характером: он приказывал кучеру стегать кнутом и тех своих крепостных, которые кланялись ему при встрече, и тех, которые не кланялись, наказывая и тех и других «за дерзость», ибо считал ее в обоих случаях одинаковой.

Вспоминаю, кстати сказать, как я тогда разошелся: начал было писать «Оду полиции» и «Апофеоз гильотины». А главное, заставлял себя посещать те кафе, где собирались наши известные гуманисты.[15] Ввиду моей доброй славы меня они, разумеется, встречали хорошо. И там я как будто нечаянно произносил запретные у них слова. «Слава богу!» — говорил я или же просто восклицал: «Боже мой!» А вы знаете, каковы наши ресторанные атеисты, эти робкие богомольцы. Услышав такие ужасные, такие неподобающие слова, они бывали потрясены, молча переглядывались, потом начиналось шумное смятение: одни убегали из кафе, другие поднимали негодующую трескотню, ничего не желая слушать, и

---

[15] Примечания: 15

…кафе, где собирались наши известные гуманисты… — Видимо, герой Камю имеет в виду французских экзистенциалистов и причислявшую себя к таковым послевоенную молодежь (называя их гуманистами по аналогии с названием книги Сартра «Экзистенциализм — это гуманизм», 1946), собиравшихся в модных тогда кафе парижского квартала Сен-Жермен-де-Пре.

каждый корчился, как черт, которого окропили святой водой.

Вам моя выходка кажется ребячеством? Однако ж в этой шутке был, пожалуй, и серьезный смысл. Мне хотелось испортить их игру, а главное — да-да — подорвать мою лестную репутацию, приводившую меня в ярость. «Такой человек, как вы», — любезно говорили мне, и я бледнел от злости. Мне больше не нужно было их уважение, потому что оно не было всеобщим, да и как оно могло быть всеобщим, раз сам я не мог его разделять. Значит, лучше набросить на все — на суд людской и на уважение «порядочного общества» — покров нелепости и насмешки. Мне необходимо было дать выход чувству, которое душило меня. Я хотел разломать красивый манекен, каким я повсюду выступал, и показать всем, чем набито его нутро. Вспоминаю, например, беседу, которую я должен был провести с молодыми адвокатами-стажерами. Раздраженный невероятными похвалами старшины «сословия адвокатов», представлявшего меня аудитории, я не стерпел. Начал я темпераментно, с заразительным волнением, которого ждали от меня и которое я без труда «выдавал» по заказу. А потом я вдруг стал рекомендовать в качестве метода

защиты мешанину. Не ту усовершенствованную мешанину, какая применяется в наших современных судилищах инквизиции, где усаживают на скамью подсудимых одновременно и вора и честного человека, для того чтобы взвалить на второго преступления первого. Нет, речь шла о том, что вора там защищают ценою преступления честного человека, в данном случае — адвоката. Я совершенно ясно выразил свою мысль.

«Предположим, я взялся защищать какого-нибудь трогательного гражданина, совершившего убийство из ревности. Подумайте, господа присяжные, ведь грешно сердиться на этого человека, вы же видите, что его природная доброта подверглась непосильному для него испытанию сексуальной страстью. Насколько важнее то обстоятельство, что я, например, нахожусь не на скамье подсудимых, а на своем адвокатском месте, хотя я никогда не отличался добротой и не страдал, оказавшись жертвой лукавой измены. Я на воле, я не подлежу суровому вашему суждению, а ведь кто я такой? По чести гордости — сияю, как солнце, а вместе с тем я похотливый козел, гневливый фараон, первостатейный бездельник. Я никого не убивал? Нет еще, конечно! Но, может быть, из-за меня умерли весьма достой-

ные женщины. Очень может быть. И я способен опять взяться за свое. Тогда как этот человек — взгляните на него, — он уже не повторит своего преступления. Он до сих пор не может опомниться от того, что так здорово поработал». Такая речь немного смутила моих молодых собратьев. Но тут же они оправились и принялись хохотать. А потом и совсем успокоились, когда я подошел к заключительной части и красноречиво воззвал в ней к защите человеческой личности и ее предполагаемых прав. Привычка оказалась сильнее меня.

Неоднократно повторяя эти милые выходки, я достиг только того, что несколько поколебал установившееся обо мне мнение. Обезоружить почитателей, а главное, самому сложить оружие мне не удалось. Никакой радости не принесло мне удивление, которое я обычно встречал у своих слушателей, их молчаливое смущение, похожее на то, какое вы сейчас испытываете, — нет-нет, не протестуйте. Видите ли, недостаточно самому обвинить себя, чтобы стать невиновным, иначе я был бы чистым агнцем. Надо обвинить себя особым образом, мне понадобилось немало времени, чтобы выработать эту манеру, я открыл ее лишь тогда, когда все отшатнулись от меня.

А до того времени вокруг меня все реял смешок, и все мои беспорядочные усилия не могли его лишить благожелательного, почти ласкового оттенка, от которого мне становилось больно.

Смотрите-ка, начался, кажется, прилив. Значит, скоро наш пароход отправится обратно. День на исходе. Видите, голуби собрались в вышине. Прижались друг к другу тесно-тесно, едва могут пошевелиться, и свет меркнет. Давайте помолчим, насладимся этим закатным, довольно мрачным часом. Нет? Вас больше интересует моя история? Вы очень любезны. Впрочем, я теперь, пожалуй, и в самом деле могу вас заинтересовать. Прежде чем разъяснить, что такое судья на покаянии, я вам скажу все о распутстве и о каменных мешках.

Вы ошибаетесь, дорогой мой, пароход идет быстро. Но ведь Зейдерзе — мертвое море, почти что мертвое. Берега плоские, окутанные туманом, не знаешь, где это море начинается, где кончается. И нет никакой вехи, мы не можем определить скорость движения. Пароход плывет, плывет, а кругом ничего не меняется. Это не плавание, это какой-то сон.

Вот в греческом архипелаге я испытывал совершенно противоположное чувство. На горизонте

появлялись все новые и новые острова. Голые, каменные, они очертаниями своих хребтов обозначали границу неба, скалистые их берега четко выделялись на фоне моря. Там уж не спутаешь: столько яркого света, и все становится вехой. У меня было такое впечатление, будто я непрестанно, и днем и ночью, прыгаю по гребням прохладных волн от одного островка к другому, и, хоть наш пароходик еле тащился, мне казалось, что он несется, вздымая пену морскую и взрывы смеха на борту. С тех пор сама Греция плывет во мне, ее неустанно несет течение где-то на краю памяти. О, да и меня захватила и несет волна лиризма! Что ж вы не остановите меня, дорогой?

А кстати сказать, знаете ли вы Грецию? Нет? Тем лучше! Что нам делать в Греции? Там нужны люди чистые сердцем. Представьте себе, друзья там прогуливаются по улицам трогательной парой, держась за руку. Да, женщины сидят дома, а мужчины зрелого возраста, почтенные, усатые люди, важно шествуют по тротуару, сплетя свои пальцы с пальцами друга. На Востоке тоже так бывает? Возможно. Но вот скажите мне, взяли бы вы меня за руку на улице Парижа? Ну разумеется, я шучу. Мы-то ведь умеем держать себя, мы боимся грязных подозрений. Прежде чем пристать

к греческим островам, нам пришлось бы долго мыться. Там воздух так чист, там и море и радости так светлы. А мы…

Посидим на этих шезлонгах. Какой туман! Я, кажется, собирался рассказать вам о каменных мешках? Да, я вам скажу, что это такое. Долго я отбивался, напрасно напуская на себя надменный и дерзкий вид, но, лишившись сил, убедившись в бесполезности моих стараний, я решил расстаться с человеческим обществом. Нет-нет, я не стал искать какой-нибудь необитаемый остров, да их и нет теперь. Я просто нашел себе убежище у женщин. Вы же знаете, они не осуждают по-настоящему наших слабостей, скорее уж попытаются унизить нашу силу, обезоружить нас. Женщина — это награда не воителя, а преступника. Для него женщина — пристань, тихая гавань; в постели женщины обычно его и арестовывают. Женщина! Ведь это все, что нам остается от рая земного, не так ли? Совсем растерявшись, я понесся к этой естественной пристани. Но теперь я уже не произносил речей. Правда, я еще немного играл роль, по привычке, однако прежней изобретательности у меня не стало. Боюсь признаться (а то опять начнешь ораторствовать), но, кажется, именно в ту пору во мне заговорила потребность в насто-

ящей любви. Цинично, не правда ли? Во всяком случае, меня томила тоска, чувство обездоленности, делавшее меня более уязвимым, случалось, я волей-неволей, отчасти из любопытства брал на себя некоторые обязательства. У меня явилась потребность любить и быть любимым, а посему я вообразил себя влюбленным. Иначе говоря, я совсем поглупел.

Нередко я ловил себя на том, что задаю тот вопрос, которого я, как человек опытный, до тех пор избегал. Я спрашивал: «Ты меня любишь?» Вы, конечно, знаете, какой ответ следует в подобных ситуациях: «А ты?» Если я отвечал: «Да», значит, преувеличивал подлинные свои чувства. А если дерзал ответить: «Нет», рисковал тем, что меня разлюбят и я буду страдать из-за этого. Чем большая опасность угрожала чувству, в котором я надеялся найти покой душевный, тем упорнее я добивался его от своей партнерши. Я дошел до самых недвусмысленных обещаний и требовал от своего сердца все более глубокого чувства. Тогда-то я и воспылал ложной страстью к очаровательной дурочке, начитавшейся советов в эротических изданиях, а посему говорившей о любви с уверенностью и убежденностью интеллектуала, возвещающего неизбежность

бесклассового общества. Вам, конечно, известно, как захватывает такая убежденность. Я тоже попытался говорить о любви и в конце концов убедил самого себя, что я влюбился. По крайней мере я пребывал в этой уверенности до тех пор, пока эта глупышка не стала моей любовницей и я не понял, что авторы, специализировавшиеся на сердечных делах, научили ее толковать о любви, но оставили полной невеждой в любовной практике. Я влюбился в попугайчика, а спать мне пришлось со змеей. Тогда я стал искать у других женщин той любви, о которой говорят книги и которой я никогда не встречал в жизни.

Но искал я без особого увлечения. Ведь больше тридцати лет я любил только самого себя. Разве можно было расстаться с укоренившейся привычкой? И я не расстался с ней, я проявлял лишь слабые попытки восчувствовать страстную любовь. Я множил обещания, я влюблялся сразу в нескольких, как бывало заводил сразу несколько связей. И навлекал на женщин больше бед, чем во времена моего беспечного равнодушия. Представьте себе, мой попугайчик, дойдя до отчаяния, решила уморить себя голодом. К счастью, я вовремя явился к страдалице и кротко поддержал ее дух до тех пор, пока она не встретила вернувше-

гося из путешествия на остров Бали интересного инженера с седеющими висками, которого ей уже описал ее излюбленный еженедельник. Во всяком случае, я не только не вознесся, как говорится, на седьмое небо и не получил отпущения грехов, но еще увеличил бремя своих провинностей и заблуждений. После этого я почувствовал такое отвращение к любви, что долгие годы не мог без скрежета зубовного слышать о «Жизни среди роз»[16] или «Любви и смерти Изольды».[17] Я попытался отказаться на свой лад от женщин и жить целомудренно. В конце концов с меня достаточно было их дружбы. Но пришлось отказаться и от игры. А ведь если отбросить влечение, то с женщинами мне было безмерно скучно; да, по-видимому, и они тоже скучали со мной. Не было больше игры, не было театра — одна лишь неприкрытая правда. Но правда, друг мой, — это скука смертная.

Придя в отчаяние и от любви и от целомудрия, я наконец решил, что мне еще остается разврат — он прекрасно заменяет любовь, прекращает

---

[16] Примечания: 16

«Жизнь среди роз» (1946) — популярная песня в исполнении Эдит Пиаф (настоящее имя Эдит Джованна Гассион, 1915–1963).

[17] Примечания: 17

«Любви и смерти Изольды» — эпизод из оперы Вагнера.

насмешки людей, водворяет молчание, а главное, дарует бессмертие. Когда ты вполпьяна, еще не потеряв ясности ума, лежишь поздно ночью меж двух проституток, начисто исчерпав вожделение, надежда, знаете ли, уже не мучает тебя — воображаешь, что отныне и впредь, на все времена, в жизни твоей воцарится холодный рассудок, а все страдания навеки канут в прошлое. В известном смысле я всегда погрязал в разврате, никогда не переставая при этом мечтать о бессмертии. Это было свойственно моей натуре и вытекало также из великой моей любви к самому себе, о которой я уже неоднократно говорил вам. Да я просто умирал от жажды бессмертия. Я слишком любил себя и, разумеется, желал, чтобы драгоценный предмет этой любви жил вечно. Но ведь в трезвом состоянии ты, немного зная себя, не видишь достаточных оснований к тому, чтобы бессмертие было даровано какой-то похотливой обезьяне, а следовательно, надо раздобыть себе суррогаты бессмертия. Из-за того, что я жаждал вечной жизни, я и спал с проститутками и пил по ночам. Утром, разумеется, у меня было горько во рту, как оно и подобает смертному. Но долгие часы я реял в небесах. Уж не знаю, как и признаться, я все еще с умилением вспоминаю о некоторых

ночах, когда я ходил в подозрительный кабак, поджидая подвизавшуюся там танцовщицу, даровавшую мне свои милости; во славу ее я даже подрался однажды вечером с неким хвастливым щенком. Каждую ночь я трепал языком у стойки бара в этом злачном месте, освещенном багряными огнями и пропитанном пылью, врал, как зубодер на ярмарке, и пил, пил. Дождавшись зари, я попадал наконец в вечно не застланную постель моей принцессы, которая машинально предавалась любовным утехам и сразу же засыпала. Потихоньку занимался день, озаряя мое крушение, а я, недвижный, возносился к небесам в лучах славы.

Алкоголь и женщины давали мне, признаюсь, единственное достойное меня облегчение. Открываю вам эту тайну, дорогой друг, не бойтесь воспользоваться ею. Вы сами тогда убедитесь, что настоящий разврат — сущий избавитель, потому что он не налагает никаких обязательств. Распутствуя, думаешь только о самом себе, поэтому-то больше всего и развратничают люди, питающие великую любовь к собственной особе. Разврат — это джунгли без будущего и без прошлого, а главное, без обещаний и без немедленной кары. Места, предназначенные для него, отделены от

мира. Входя туда, оставь и страх и надежду. Разговаривать там не обязательно, то, за чем пришел, можно получить и без слов, а зачастую даже и без денег — да-да. Ах, позвольте уж мне, пожалуйста, воздать хвалу безвестным и позабытым женщинам, которые помогали мне тогда. Еще и до сих пор к воспоминаниям, оставшимся у меня о них, примешивается что-то похожее на уважение.

Как бы то ни было, я без удержу пользовался этими средствами избавления от тоски. Меня видели даже в особой гостинице, отведенной, как говорится, для прелюбодейства, я жил там одновременно с проституткой зрелых лет и с молоденькой девушкой из лучшего общества. С первой я играл роль верного рыцаря, а вторую посвящал в некоторые тайны реальной действительности. К несчастью, проститутка была по природе своей крайне буржуазна: позднее она согласилась написать свои воспоминания для одного церковного журнала, широко открывавшего свои страницы современным проблемам. А молодая девушка вышла замуж, чтобы утолить свои разнузданные страсти и найти применение своим замечательным дарованиям. Могу похвалиться также, что в это время меня как равного приняла к себе некая мужская корпорация, на

которую часто клевещут. Упомяну об этом лишь вскользь; как вам известно, даже очень умные люди гордятся тем, что они способны выпить на одну бутылку больше, чем сосед. Мне, может быть, удалось бы найти в этих приятных развлечениях покой и избавление от мук. Но опять помехой этому оказался я сам. Вдруг заболела печень, да еще напала безмерная усталость, которая и до сих пор не оставляет меня. Вот играешь в игру «жажда бессмертия», а через несколько недель ты уже едва жив и не знаешь, сможешь ли дотянуть до завтра.

Когда я отказался от своих ночных подвигов, жизнь стала менее мучительной, и это была единственная польза от такого эксперимента. Усталость, подтачивающая мое тело, притупила многие шипы, раздиравшие мне душу. Всякое излишество уменьшает жизненную силу, а значит, ослабляет и страдания. В разврате нет ничего неистового вопреки обычному представлению. Это просто долгий сон. Вы, вероятно, замечали, что для людей, искренне страдающих от ревности, важнее всего переспать с той, которая, как они думают, изменила им. Они, разумеется, хотят лишний раз удостовериться, что драгоценное сокровище по-прежнему принадлежит им. Они,

как говорится, жаждут обладания, к тому же сразу после этого они меньше ревнуют. Плотская ревность — это результат воображения, а также и мнения человека о самом себе. Сопернику он приписывает те скверные мысли, какие у него самого были при таких же обстоятельствах. К счастью, от избытка блаженства воображение хиреет так же, как и самомнение. Муки ревности угасают вместе с мужественностью и дремлют так же долго, как и она. По тем же самым причинам юноши после первой любовницы освобождаются от метафизической тревоги, зато некоторые браки, представляющие собою узаконенный разврат, становятся однообразными похоронами смелости и изобретательности. Да, дорогой друг, буржуазный брак обул нашу страну в домашние шлепанцы и скоро приведет ее к вратам смерти.

Я преувеличиваю? Нет, только отвлекаюсь. Ведь я хотел лишь сказать, какую выгоду извлек из нескольких месяцев разврата. Я жил в каком-то тумане, в котором смех, преследовавший меня, звучал так глухо, что я в конце концов даже и не слышал его. Равнодушие, занимавшее уже столько места в моей душе, не встречало больше сопротивления, и склероз этот все ширился. Больше никаких волнений! Ровное настроение,

вернее, отсутствие настроения. У выздоравливающего чахоточного легкие, пораженные туберкулезом, иногда ссыхаются, и мало-помалу счастливый их обладатель погибает от удушья. Так и я спокойно умирал от своего исцеления. Я все еще кормился адвокатским ремеслом, хотя и подорвал свою репутацию дерзкими выпадами в разговорах, но регулярно заниматься судебной практикой мне мешала беспорядочная жизнь. Интересно, кстати, отметить, что мне меньше вменяли в вину мои ночные похождения, чем браваду в моих речах. Чисто ораторские ссылки на господа бога в моих судебных выступлениях вызывали недоверие у моих клиентов. Они, вероятно, боялись, что небо не сможет так хорошо защитить их интересы, как искусный адвокат, несокрушимый знаток уголовного и гражданского кодексов. Они вполне могли предположить, что я взываю к богу в силу своего невежества. Поэтому число их уменьшилось. Время от времени я еще выступал в суде. Иной раз, позабыв о том, что я больше не верю своим словам, я говорил хорошо. Собственный голос увлекал меня, я шел за ним следом; хоть я и не воспарял в небеса, как раньше, я все же немного отрывался от земли, летел бреющим полетом. Помимо деловых знако-

мых, я мало с кем виделся, с трудом поддерживал две-три надоевшие связи. Случалось даже, что я отдавал вечера чисто дружеской близости, к которой не примешивались грешные желания, и смиренно переносил эти скучные часы, едва, однако, слушая то, что мне говорили. Я немного пополнел и мог уже надеяться наконец, что кризис миновал. Теперь мне оставалось только стареть.

Но вот однажды, во время морского путешествия, на которое я пригласил свою подружку, не сказав ей о том, что я предпринял его, чтобы отпраздновать свое исцеление, я очутился на борту океанского парохода, на верхней палубе, разумеется; мы плыли в открытом море, и вдруг вдали на поверхности синевато-серых волн я заметил черную точку. Я сразу отвел глаза, сердце у меня забилось. Когда я снова заставил себя посмотреть в ту сторону, черная точка куда-то исчезла. Но я вновь ее увидел и готов был закричать, позвать на помощь. Однако оказалось, что это просто обломок ящика, какие пароходы оставляют за собой. И все же мне нестерпимо было смотреть на него, мне все казалось, что это утопленник. Тогда без тени возмущения, как смиряются с роковой вестью, давно уже зная, что это правда,

я понял, что крик, раздавшийся на Сене много лет назад, разнесшийся где-то за моей спиной, не умолк: река повлекла его к водам Ла-Манша, и он несется теперь по всему свету, в беспредельных просторах океана; он ждал меня до того дня, когда я встретил его. Я понял также, что он и дальше будет ждать меня на морях и реках — словом, повсюду, где окажется горькая вода моего крещения. А ведь здесь мы тоже на воде, верно? На плоской, однообразной, бесконечной поверхности, сливающей свои пределы с пределами земли. Просто не верится, что мы скоро прибудем в Амстердам. Нет, никогда нам не выбраться из этой огромной купели. Прислушайтесь. Вы разве не слышите криков чаек? Они кличут нас. К чему же они нас призывают?

Да это те же самые чайки, которые кричали, которые звали меня в Атлантическом океане в тот день, когда мне стало совершенно ясно, что я не исцелился, что я по-прежнему в тисках и мне надо что-то сделать. Кончена блестящая карьера, но кончены также и неистовство и судорожные рывки. Надо покориться и признать себя виновным. Надо жить в мешке. Да, правда, вы не знаете, что такое «мешок»! Так называли в средние века каземат подземной темницы. Обычно

заключенного бросали туда на всю жизнь. Этот каземат отличался от других камер остроумно вычисленными размерами. Он был недостаточно высок, чтобы можно было выпрямиться во весь рост, и недостаточно длинен, чтобы можно было лежать. Приходилось поневоле жить там скрючившись, «по диагонали», сон сваливал человека с ног; бодрствуя, он вынужден был сидеть на корточках. Друг мой, какая это была гениальная находка. Так просто, а вместе с тем гениально, я говорю это, взвешивая свои слова. Непрестанная, вынужденная неподвижность, от которой затекало онемевшее тело, заставляя осужденного смиряться с мыслью, что он виновен, а невиновность дает право весело потянуться. Можете вы себе представить в таком «мешке» человека, привыкшего к горным высотам и верхним палубам? Что? Разве можно было жить в таких казематах и быть невиновным? Невероятно, совершенно невероятно! А иначе разобьется весь ход моих рассуждений. Чтобы невиновному да пришлось жить, превратившись в горбуна, — нет, я отказываюсь допустить хотя бы на минуту подобную гипотезу! Впрочем, нельзя никого считать невиновным, зато с уверенностью можно утверждать, что все мы виноваты. Каждый человек свиде-

тельствует о преступлении всех других — вот моя вера и моя надежда.

Поверьте, религии ошибаются, как только начинают создавать принципы нравственности и мечут громы и молнии, устанавливая заповеди. Нет необходимости в боге, чтобы возложить на кого-нибудь бремя вины и наказать за нее. Это прекрасно сделают наши ближние с нашей помощью. Вот вы сказали о Страшном суде. Позвольте мне почтительно посмеяться над этим. Я жду его бестрепетно, ведь я изведал кое-что страшнее: суд человеческий. Для него нет смягчающих обстоятельств, даже благие намерения он вменяет в вину. Слышали вы хотя бы о камере плевков? Какой-то народ недавно придумал такую камеру, чтобы доказать, что он самый великий народ на земле. Это каменный ящик, в котором заключенный стоит во весь рост, но двигаться не может. Прочная дверь этой каменной скорлупы доходит ему до подбородка. Значит, видно только его лицо, которое каждый тюремный сторож, проходя мимо, орошает обильным плевком. Узник, втиснутый в ящик, не может утереться, но ему, правда, позволено закрывать глаза. Ну вот, дорогой мой, вот вам изобретение ума человеческого. Для этого маленького шедевра бог людям не по-

надобился.

Что я хочу сказать? Да то, что единственная польза от бога была бы, если б он гарантировал невиновность, и на религию я смотрел бы скорее как на огромную прачечную, чем она, кстати сказать, и была когда-то, но очень недолго — в течение нескольких лет — и не называлась тогда религией. Однако с тех пор не хватает мыла, а так как носы у нас грязные, то мы их друг другу вытираем. Все пакостные, все наказанные, а туда же, плюем на провинившихся, и хлоп — в каменный мешок! Давай, кто кого переплюнет, вот и все. Я вам сейчас открою большой секрет, дорогой мой. Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день.

Нет, не беспокойтесь, я озяб немножко, оттого и дрожу. Такая сырость проклятая! Да мы уже и подплываем. Стоп! Нет-нет, вас пропускаю вперед. Но только не уходите, пожалуйста, проводите меня немножко. Я еще не кончил, надо продолжить. А продолжать-то как раз и трудно. Погодите, вы знаете, за что его распяли — того самого, о ком вы, может быть, думаете в эту минуту? Разумеется, было много причин. Всегда найдутся причины для того, чтобы убить человека. И наоборот, невозможно оправдать помилование. Преступле-

ние всегда найдет защитников, а невиновность — только иногда. Но, помимо тех причин, какие нам усердно объясняли в течение двух тысяч лет, была еще одна важная причина этой ужасной казни, и я не знаю, почему ее так старательно скрывают. Истинная причина вот в чем: он-то сам знал, что совсем невиновным его нельзя назвать. Если на нем не было бремени преступления, в котором его обвиняли, он совершил другие грехи, даже если и не знал какие. А может быть, и знал? Во всяком случае, он стоял у их истока. Он, наверно, слышал, как говорили об избиении младенцев. Маленьких детей в Иудее убивали, а его самого родители увезли в надежное место. Из-за чего же дети умерли, если не из-за него? Он этого не хотел, разумеется. Перепачканные кровью солдаты, младенцы, разрубленные надвое, — это было ужасно для него. И конечно, по самой сущности своей он не мог их забыть. Та печаль, которую угадываешь во всех его речах и поступках, — разве не была она неисцелимой тоской? Он ведь слышал по ночам голос Рахи-

ли,[18] стенавшей над мертвыми своими детьми и отвергавшей все утешения. Стенания поднимались во мраке ночном, Рахиль звала детей своих, убитых из-за него, а он-то, он был жив!

Он знал все сокровенное, все постигнул в душе человеческой (Ах! Кто бы мог подумать, что иной раз не так преступно предать смерти, как не умереть самому!), он день и ночь думал о своем безвинном преступлении, и для него стало слишком трудно крепиться и жить. Лучше было со всем покончить, не защищаться, умереть, чтобы не сознавать себя единственным уцелевшим, не поддаваться соблазну уйти куда-нибудь в другое место, где его, может быть, поддержат. Его не поддержали, он на это возроптал, и тогда его стенания подвергли цензуре. Да-да, кажется, это евангелист Лука выкинул из текста его жалобный возглас: «Зачем ты покинул меня?»[19] — ведь это мятежный возглас, не правда ли! Живо, ножницы

---

[18] Примечания: 18

Рахиль — персонаж Ветхого Завета (Быт., XXIX, 6, 28 и др.); пророк Иеремия представляет Рахиль как проматерь всех Израильтян, а Матфей, причисляя погибших во время избиения младенцев детей Вифлеемских к потомству Рахили, пишет, что «Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет» (Матфей, II, 18).

[19] Примечания: 19

«Зачем ты покинул меня?» — «А около девяти часов возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Матфей, 27, 46).

сюда! Заметьте, однако, что, если бы Лука ничего не вычеркнул, жалобу распятого едва бы заметили; во всяком случае, она не заняла бы большого места. А запрещение цензора превратило возглас в крик. Странно все устроено в мире.

Но все равно тот, кто подвергся цензуре, не мог продолжать. Я, дорогой мой, знаю, что говорю. Было время, когда мне каждую минуту казалось, что до следующей минуты мне не дожить. Да, можно в этом мире вести войны, кривляться, изображая любовь, мучить своего ближнего, распускать павлиний хвост в газетах или просто-напросто злословить о своем соседе, занимаясь при этом вязаньем. Но в иных случаях продолжать свое существование, только продолжать, — для этого надо быть сверхчеловеком. А ведь он, поверьте, не был сверхчеловеком. Он возроптал, он пожаловался на свои муки, и потому-то я люблю его, друг мой, люблю его, умершего в неведении.

К несчастью, нас он оставил одних, и мы живем, что бы ни случилось, даже когда мы брошены в каменный мешок, когда мы изведали то, что он изведал, но оказались не способны сделать то, что он сделал, и умереть так же, как он. Разумеется, кое-кто попытался обратить себе на пользу его смерть. В конечном счете было гениальной

выдумкой сказать нам: «Да, вы не блещете добродетелями — это факт. Но не будем вдаваться в подробности! Вы искупите все сразу, когда вас распнут на кресте!» Теперь слишком много страдальцев карабкается на крест, желая, чтобы их видели издалека, даже если им надо для этого попрать ногами того, кто уже давно распят. Слишком много людей решило творить милосердие без великодушия. Ах, как же несправедливо, как несправедливо с ним поступают! У меня просто сердце сжимается от обиды.

Ну вот, смотрите — опять на меня нашло: собрался выступить с защитительной речью. Простите меня, пожалуйста, надеюсь, вы поймете, почему так происходит. Знаете, неподалеку отсюда находится музей, который носит такое название: «Господь спаситель наш над нами!» В давние времена голландцы устраивали свои катакомбы на чердаках. Что поделаешь, подземелья здесь затопляет. Нынче, не беспокойтесь, их господь спаситель не обретается ни на чердаке, ни в подземелье. Они в тайне сердца своего вознесли его на стену трибуналов и от его имени бьют со всего размаха, а главное — судят, осуждают. От его имени! Он-то кротко говорил блуднице: «И я тоже не осуждаю тебя». Но для них это неважно,

они осуждают, они никому не отпускают грехов. «Во имя господа получай пощечину. На тебе!» Во имя господа? Он не требовал такого рвения, друг мой. Он хотел, чтобы его любили, и только. Конечно, есть люди, которые его любят, даже среди христиан. Но сколько их? По пальцам можно перечесть. Он, впрочем, предвидел это — у него было чувство юмора. Апостол Петр, как известно, струсил и отрекся от него: «Я не знаю этого человека… Не знаю, что ты хочешь сказать и т. д.» Ужасно испугался! А учитель так остроумно ему сказал: «На сем камне воздвигну я церковь свою». Какая ирония! Дальше уж некуда! Вы не находите? И что же, они опять восторжествовали: «Вы же видите, он сам так сказал!» Он действительно так сказал, с полным пониманием дела. А потом ушел навеки, предоставив им судить и выносить приговоры. На устах — прощение, а в сердце — суровый приговор.

И ведь нельзя сказать, будто в мире уже нет сострадания, где там, великие боги! Мы без конца о нем говорим. Просто теперь больше никого не оправдывают. Невиновность умерла, а судьи так и кишат, судьи всех пород — из воинства Христа и из воинства Антихриста; впрочем, это одно племя, они помирились друг с другом, придумав

каменный мешок. Нельзя все валить только на христиан. Другие тоже не стоят в сторонке. Знаете, во что превратили в этом городе дом, где некогда жил Декарт?[20] В сумасшедший дом! Да-да, повсюду теперь бред безумия и преследования. Разумеется, и мы волей-неволей в этом участвуем. Вы уже могли заметить, что я ничего не щажу. Да, мне думается, и вы не меньше моего порицаете миропорядок. Ну, а раз мы все стали судьями, все мы друг перед другом виноваты, все мы подобны Христу, на свой грешный лад, всех нас одного за другим распинают на кресте, а сами палачи того и не ведают. Так было бы и со мной, Кламансом, если бы я не нашел выхода, единственного разрешения задачи — словом, не открыл бы истину…

Нет, не бойтесь, дорогой друг, не бойтесь. На сем я останавливаюсь. Да мы сейчас и простимся — вот мой дом. В одиночестве, в час усталости охотно считаешь себя пророком — что поделаешь! В конце концов я и стал пророком, укрывшимся в пустыне, созданной из камня, туманов и стоячих вод, но речи мои — пустословие, ибо наше время

---

[20] Примечания: 20

Декарт, Рене (1596–1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. Декарт прожил в Голландии с 1629 по 1650 гг., вплоть до своей смерти.

— царство пошлости, и назвать меня можно Илией,[21] непосланным мессией, взвинченным от лихорадки и джина, пророком, который прислонился к вот этой липкой двери и, воздев палец к низкому небу, проклинает беззаконников, кои не могут переносить суждения о них. Да-да, они не могут, дорогой мой, переносить никакого суда над ними — в этом все и дело. Кто соблюдает закон, не боится суда, ибо признан будет верным велениям закона. Но величайшая мука для человека — подвергнуться суду беззаконников. А ведь нам и приходится ее терпеть. Не зная по природе своей никакого удержу, разъяренные судьи наугад хватают, хватают жертвы беззакония своего. Что же нам остается делать? Опередить преследователей, не правда ли? Вот и идет великая суматоха. Множится число пророков и целителей, они спешат принести нам благие законы или непогрешимый общественный строй, пока земля еще не обезлюдела. Счастье ваше, что я пришел к вам. Ибо я — начало и конец, я возвещаю закон. Словом, я — судья на покаянии.

Да-да. А завтра я скажу вам, в чем состоят эти прекрасные обязанности. Послезавтра вы уез-

[21] Примечания: 21

Илия — ветхозаветный пророк и глава общества сынов пророческих в Израильском царстве *(III Царств, XVII, 1).*

жаете, так надо поторопиться. Приходите ко мне, пожалуйста. Звонить надо три раза. Вы возвращаетесь в Париж? Париж далеко, Париж прекрасен, я не позабыл его. Помню его сумерки в такое же вот осеннее время. На крыши, сизые от дыма, спускается вечер, сухой, хрустящий, город глухо гудит, а река словно течет в обратную сторону. Я бродил тогда по улицам. Такие, как я, бродят там и теперь, я это знаю. Они бродят, а делают вид, будто спешат к усталой жене, в свой суровый дом… Ах, друг мой, знаете ли вы, каково одинокому человеку бродить по улицам в больших городах?..

Мне ужасно неловко, что я принимаю вас, лежа в постели. Нет-нет, ничего серьезного, немножко лихорадит: я лечусь джином. Знакомое дело эти приступы. Малярия. Я подхватил ее, вероятно, в те времена, когда был папой Римским. Нет, это только наполовину шутка. Я знаю, что вы думаете: «Трудно отличить правду от выдумки в его рассказах». Сознаюсь, трудно. Я и сам… Видите ли, один из близких моих знакомых делил людей на три разряда: одни предпочитают лучше уж ничего не скрывать, только бы не лгать, другие предпочитают солгать, но никогда не откажутся от того, что следует скрыть, а третьи готовы

и приврать, и кое-что держать в тайне. Предоставляю вам самому выбрать, к какому разряду правильнее всего меня отнести.

Да разве все это важно? Ложь изреченная в конечном счете приводит к правде. Разве мои рассказы, правдивые или выдуманные, не имеют одной и той же цели, одного и того же смысла? Так не все ли равно, правдивы они или выдуманы, если в обоих случаях они рисуют, кем я был и кем стал теперь. Иной раз яснее разберешься в человеке, который лжет, чем в том, кто говорит правду. Правда, как яркий свет, ослепляет. Ложь, наоборот, — легкий полумрак, выделяющий каждую вещь. Ну, думайте что угодно, а меня назначили папой в концлагере.

Присядьте же, пожалуйста. Прошу вас. Вам любопытна моя комната? Стены голые, но все тут опрятно. Подобие картины Вермеера,[22] но без шкафов и кастрюль. И без книг тоже — я уже давно бросил читать. Когда-то у меня в доме полно было наполовину прочитанных книг. Отвратительная манера, такая же противная, как привычка иных привередников, которые

[22] Примечания: 22

Вермеер Дельфтский, Ян (1632–1675) — нидерландский художник, работал в Дельфте, автор небольших интимных картин из жизни горожан.

отщипнут кусочек от паштета из гусиной печенки, а остальное выбрасывают вон. Впрочем, я теперь люблю только исповеди, но авторы этих исповедей пишут главным образом для того, чтобы ни в чем не исповедаться и ничего не сказать из того, что им известно. Когда они якобы переходят к признаниям, тут-то им и нельзя доверять: сейчас начнут подрумянивать труп. Поверьте мне, я в этой косметике разбираюсь. Ну, я сразу обрезал. Долой книги, долой и лишние вещи — только строго необходимое, чтобы было чисто и отлакировано, как гроб. Кстати сказать, эти голландские постели жестки, как камень, а безупречной белизны простыни, благоухающие чистотой, подобны смертному савану.

Вам любопытно познакомиться с моими приключениями, которые возвели меня в сан папы? Знаете ли, самые банальные обстоятельства. Хватит ли только у меня сил рассказать о них. Да, лихорадка, кажется, стихает. А события эти давние. Происходили они в Африке, где благодаря господину Роммелю[23] заполыхало пламя войны. Я в нее не вмешивался, нет, не беспокойтесь. Я

[23] Примечания: 23

Роммель, Эрвин (1891–1944) — немецкий военачальник, фельдмаршал третьего рейха (1942); во время Второй мировой войны командовал войсками в Северной Африке.

уже все покончил и с той войной, что шла в Европе. Конечно, меня мобилизовали, но я ни разу не был под огнем. Пожалуй, стоило пожалеть об этом. Может быть, это многое изменило бы. Французской армии я на фронте не потребовался. Меня только заставили участвовать в отступлении. Таким образом я снова увидел Париж и немцев. Меня соблазняла мысль о Сопротивлении — о нем начали говорить как раз в тот момент, когда я открыл в себе чувство патриотизма. Вы улыбаетесь? Напрасно. Я сделал это открытие в коридорах метро, на станции «Шатле». В лабиринте переходов там заблудилась собака. Большая, шерсть жесткая, одно ухо торчит, другое обвислое, в глазах любопытство. Пес скакал, обнюхивал икры проходивших людей. Я люблю собак, всегда любил их верной, нежной любовью. Я подозвал этого пса, он заколебался, но, видимо, почувствовал ко мне доверие и, восторженно виляя хвостом, побежал на несколько метров впереди меня. И тут меня обогнал весело шагавший немецкий солдат. Поравнявшись с собакой, он погладил ее по голове. И пес без колебания пошел рядом с ним, так же радостно виляя хвостом, и исчез с этим немцем. Я почувствовал не только досаду, а лютую злобу к этому немецкому солдату — и

тогда я понял, что во мне заговорил патриотизм. Пойди собака за французом, я об этом и думать бы позабыл. А тут мне все представлялось, как этот симпатичный пес станет любимцем немецкого полка, и это приводило меня в ярость. Испытание было убедительное.

Я пробрался в южную зону[24] с намерением разузнать там о Сопротивлении. Но, получив на месте сведения, я заколебался. Движение показалось мне немного безрассудным и, прямо сказать, романтичным. А главное, думается, подпольная работа не соответствовала моему темпераменту и моей любви к высотам, овеваемым чистым воздухом. Мне казалось, что от меня потребуют ткать ковер в подземелье, ткать его долгие дни и ночи, а тупые негодяи придут и, обнаружив меня, сначала искромсают все мое рукоделье, потом потащат меня в другой подвал, будут там пытать и убьют меня! Я восхищался теми, кто оказался способен на этот подземный героизм, но сам не мог следовать их примеру.

Тогда я переехал в Северную Африку, питая

---

[24] Примечания: 24

Я пробрался в южную зону... — имеется в виду не оккупированная немцами южная часть Франции, управлявшаяся марионеточным режимом со «столицей» в городе Виши («правительство Виши», «вишисты»).

смутные намерения добраться оттуда до Лондона. Но в Африке положение было неясным, обе противостоящие друг другу группировки[25] казались мне одинаково правыми, и я воздержался. Понимаю по вашему виду, что вы находите мое изложение этих немаловажных подробностей слишком поверхностным. Ну что ж, если я правильно оценил вас, то именно моя торопливость и заставит вас обратить на них сугубое внимание. Как бы то ни было, я в конце концов очутился в Тунисе, где нежная моя подруга устроила меня на службу. Она была очень культурной особой и работала в кино. Я последовал за ней в Тунис и узнал ее настоящую профессию только после высадки союзников в Алжире — в тот день, когда немцы арестовали ее. Вместе с нею на всякий случай забрали и меня. Что сталось с нею, не знаю. А мне не причинили никакого зла, и после ужасной тревоги я понял, что мой арест скорее произведен в целях безопасности. Меня интернировали в концлагерь под Триполи; заключенные страдали там не столько от жестокого обращения, сколько от жажды и отсутствия одежды.

---

[25] Примечания: 25

...обе противостоящие друг другу группировки... — Речь идет о сторонниках союза с вишистами или же с Англией и США в бывших французских колониях в Северной Африке.

Описывать нашу жизнь в лагере не стану. Мы, дети середины двадцатого века, не нуждаемся в рисунках, чтобы представить себе такого рода места. Сто пятьдесят лет назад людей умиляли озера и леса. А нынче нас приводят в лирическое волнение тюремные камеры. Итак, я доверюсь вашему воображению, только прибавлю несколько штрихов: зной, отвесные лучи солнца, мухи, песок, отсутствие воды.

Со мной был там один молодой француз, человек верующий. Да, прямо как в сказке. По характеру — сущий рыцарь Дюгесклен.[26] Он отправился из Франции в Испанию, чтобы сражаться с немцами. А католический генерал интернировал его, и, видя, что во франкистских концлагерях чечевичная похлебка для заключенных получала, осмелюсь сказать, благословение папы Римского, он впал в глубокое уныние. Ни знойные небеса Африки, в которой он очутился затем, ни вынужденные досуги в концлагере не могли исцелить его от этого уныния. Наоборот, от постоянного раздумья и невыносимого солнца он стал немного ненормальным. Однажды, когда под

[26] Примечания: 26

Дю Гесклен, Бертран (1320–1380) — французский дворянин, коннетабль Франции (1370); сражался под знаменем короля Франции и Испании, прославился геройскими действиями против англичан.

тентом, с которого как будто струилось расплавленное олово, нас сидело человек двенадцать, задыхаясь и тщетно отгоняя мух, Дюгесклен, как обычно, начал обличать папу Римского, которого он называл Римлянин. Оборванный, обросший бородой, он смотрел на нас блуждающим взглядом, голый, худой его торс покрыт был потом, пальцы костлявых рук барабанили по выступающим ребрам. Он заявил нам, что нужно избрать нового папу, который жил бы среди несчастных, вместо того чтобы молиться, сидя на престоле, и чем скорее произвести перемену, тем лучше. Пристально вглядываясь в нас сумасшедшими своими глазами, он твердил, кивая головой: «Да, чем скорее, тем лучше». И, вдруг успокоившись, сказал мрачным тоном, что далеко ходить не надо — выбрать следует кого-нибудь из нас, взять человека цельного, имеющего и недостатки и достоинства, и принести ему клятву в повиновении, поставив одно-единственное обязательное условие: пусть он поддерживает и в себе и в других чувство нашей общности в страданиях. «У кого из нас больше всего слабостей?» — сказал он. Шутки ради я поднял руку — больше никто

не отозвался. «Хорошо, Жан-Батист подойдет».[27] Нет, он не так сказал — ведь я носил тогда другое имя. Во всяком случае, он объявил, что, выставив свою кандидатуру, я проявил незаурядное мужество, и предложил избрать меня. Остальные согласились, с некоторой важностью играя эту комедию. По правде сказать, Дюгесклен произвел на нас впечатление. Даже я, как помнится, не смеялся. Во-первых, я полагал, что мой юный пророк прав, а тут еще солнце, изнурительный труд, сражения из-за воды — словом, мы были немного не в себе. Во всяком случае, я несколько недель исполнял обязанности папы Римского, и притом самым серьезным образом.

В чем же они состояли, эти обязанности? Право, я был чем-то вроде начальника группы или секретаря ячейки. Остальные, даже неверующие люди, привыкли повиноваться мне. Дюгесклен страдал, я облегчал его страдания. Я заметил тогда, что быть папой не так легко, как думают, и мне вспомнилось это вчера, после моих презрительных обличений по адресу судей, моих собратьев. Важнейшим вопросом в лагере было

[27] Примечания: 27

«*Хорошо, Жан-Батист подойдет*» — Ирония этой реплики при выборах папы в том, что имя собственной Жан-Батист значит по-французски «Иоанн Креститель».

распределение воды. Кроме нашей, образовались и другие группы, люди объединялись по политическим взглядам или по вероисповеданию, и каждая группа покровительствовала своим. Мне тоже приходилось покровительствовать своим, то есть поступать немного против совести. Но даже и в своей группе я не мог установить полного равенства. В зависимости от состояния здоровья моих товарищей или от тяжести работ, которые они выполняли, я отдавал преимущество то одному, то другому. А такие различия заводят далеко, можете мне поверить. Нет, право, я очень устал, и мне совсем не хочется вспоминать о тех временах. Скажу только, что я дошел до предела — в тот день, когда выпил воду умирающего товарища. Нет-нет, не Дюгесклена, он тогда, помнится, уже умер — слишком много терпел лишений ради других. Да и если б он был тогда жив, я дольше боролся бы с жаждой из любви к нему — ведь я любил его, да, любил, так мне кажется, по крайней мере. Но тут воду я выпил, убеждая себя при этом, что я нужен товарищам, нужнее, чем тот, который все равно вот-вот умрет, и я должен ради них сохранить себе жизнь. Вот так-то, дорогой, под солнцем смерти рождаются империи и церкви. А чтобы подправить вчерашние мои

высказывания, я сейчас поделюсь с вами глубочайшей мыслью, возникшей у меня, когда я говорил обо всех этих историях (я уж и не знаю теперь, действительно ли я пережил их или видел во сне). А глубочайшая моя мысль вот какая: надо прощать папе. Во-первых, он больше, чем кто бы то ни было, нуждается в прощении. А во-вторых, это единственный способ встать выше его…

Ах, простите, вы хорошо заперли дверь? Да? Проверьте, пожалуйста. Прошу вас извинить меня — у меня это комплекс. Лягу вечером в постель, уже начинаю засыпать, и вдруг мысль: а запер ли я дверь? Не помню! Каждый вечер приходится вставать проверять. Ни в чем нельзя быть уверенным, я уж это вам говорил. Не думайте, однако, что эта боязнь, эти мысли о задвижке — свойство перепуганного собственника. Еще не так давно я не запирал на ключ ни своей квартиры, ни автомобиля. Я и денег не запирал, не дорожил своей собственностью. Откровенно говоря, я даже немного стыдился, что у меня есть собственность. Случалось, что, ораторствуя в обществе, я убежденно восклицал: «Собственность, господа, — это

убийство!»[28] Не отличаясь такой широтой души, чтобы поделиться своими сокровищами с каким-нибудь достойным бедняком, я предоставлял их в распоряжение вполне возможных воров, надеясь, что случай исправит несправедливость. Нынче, однако, у меня ничего нет. И забочусь я не о своей безопасности, а о себе самом, о своем душевном спокойствии. Мне хочется крепко замкнуть ворота моего маленького мирка, где я и царь, и папа Римский, и судья.

Кстати, позвольте попросить вас отворить дверцы стенного шкафа. Да-да, там картина. Посмотрите на нее. Не узнаете? Да ведь это «Неподкупные судьи». Вы не вздрогнули? Так, значит, в вашем образовании имеются пробелы? Однако если вы читаете газеты, то, вероятно, помните о краже, которая совершена была в 1934 году: в Генте из собора св. Бавона выкрали одну из створок знаменитого напрестольного

[28] Примечания: 28

«Собственность, господа, — это убийство!» — Измененная фраза Прудона «Собственность — это кража». *Прудон*, Пьер Жозеф (1809–1965) — французский философ и экономист, теоретик мелкобуржуазного социализма и анархизма.

складня кисти Ван Эйка[29] «Поклонение агнцу». Украденная створка называлась «Неподкупные судьи». На ней изображены были судьи, которые верхом на конях едут поклониться святому агнцу. Похищенную картину заменили превосходной копией, оригинала же так и не нашли. А он вот, перед вами! Нет, я здесь ни при чем. Один из завсегдатаев «Мехико-Сити», тот самый, которого вы заметили в прошлый раз, будучи пьяным, продал сей шедевр хозяину этого кабака за бутылку джина. Я посоветовал нашему другу горилле повесить картину на видном месте, и, пока во всем мире искали наших благочестивых судей, они возвышались в «Мехико-Сити» над головами пьяниц и сутенеров. Потом горилла по моей просьбе отдал картину мне на хранение. Сперва он ворчал, не хотел этого делать, но, когда я разъяснил ему положение, испугался. С тех пор почтенные судейские чиновники составляют все мое общество. А там, в «Мехико-Сити», картина, как вы видели, оставила след на стене.

Почему я не возвратил картину в собор? Ах, ах!

---

[29] Примечания: 29

Ван Эйк, Ян (ок. 1390–1441) — нидерландский живописец, автор религиозных картин и портретов; упоминаемый Камю «Гентский алтарь» закончен в 1432; возможно, начат братом Яна, Хубертом (1370–1426).

У вас рефлексы полицейского, право! Ну что ж, я вам отвечу так, как ответил бы судебному следователю, если бы только кто-нибудь додумался наконец, что картина попала в мою спальню. Не возвратил я картину, во-первых, потому, что она принадлежит не мне, а хозяину «Мехико-Сити», который так же заслуживает этого, как и епископ Гентский. Во-вторых, никто из тех, кто проходит мимо «Поклонения агнцу», не мог бы отличить копии этой картины от оригинала и, следовательно, никто не потерпел ущерба по моей вине. В-третьих, я при помощи этой махинации возвышаюсь над толпой невежд. Для всеобщего обозрения и восхищения выставлена подделка, а подлинник-то у меня спрятан! В-четвертых, я таким образом рискую попасть в тюрьму — мысль в некотором отношении соблазнительная. В-пятых, судьи едут на поклонение агнцу, а поскольку больше нет ни агнца, ни непорочности, ловкий жулик, укравший картину, оказался орудием неведомого правосудия, коему не следует перечить. Словом, потому, что таким способом мы восстановили порядок, и, раз правосудие окончательно отделено от невиновности, последняя распята на кресте, а первое скрыто в стенном шкафу — у меня руки развязаны, и я свободно

могу действовать согласно моим убеждениям. Я могу со спокойной совестью исполнять трудные обязанности судьи на покаянии, к которым я обратился после многих разочарований и превратностей, и, раз вы уезжаете, пора мне сказать вам наконец, что же это такое.

Позвольте только я сначала лягу повыше, а то дышать трудно. Ах, как я устал! Заприте на ключ моих неподкупных судей. Спасибо. Так вот, судья на покаянии — это как раз и есть моя специальность в настоящее время. Обычно я практикую в «Мехико-Сити». Но дело, к которому человек питает призвание, он вершит и вне постоянного места работы. Я не оставляю его даже в постели, даже когда меня треплет лихорадка. Это, впрочем, не просто профессия, а искусство, я им вдохновляюсь, дышу им, не думайте же, что в течение пяти дней я вел такие длинные речи только для собственного удовольствия. Нет, в свое время я достаточно поупражнялся в пустопорожней болтовне. Теперь мои речи преследуют определенную цель. Разумеется, я стремлюсь к тому, чтобы смолкли насмешки надо мной, чтобы лично я избежал суда, хотя как будто для этого нет никакой возможности. Больше всего нам мешает ускользнуть от судилища то, что мы

первые выносим себе приговор. Стало быть, надо начать с того, чтобы распространить суд на всех, без всяких различий и тем самым уже несколько ослабить его.

Исхожу я при этом из следующего принципа: никаких извинений — никогда и никому. Я отметаю благие намерения, уважительные заблуждения, ложные шаги, смягчающие обстоятельства. У меня не дают поблажки, не дают отпущения грехов. Просто-напросто производят арифметическое действие — сложение — и устанавливают: «Всего столько-то. Вы развратник, сатир, мифоман, педераст, мошенник… и так далее». Вот так-то. Довольно сухо. В философии, как и в политике, я сторонник любой теории, отказывающей человеку в невиновности, и за то, чтобы с ним на практике обращались как с преступником. Я, дорогой мой, убежденный сторонник рабства.

Без рабства, по правде сказать, и не может быть окончательного выхода. Я очень быстро это понял. Прежде я все твердил: «Свобода, свобода!» Я ее намазывал на тартинки за завтраком, жевал целый день, и дыхание мое было пропитано чудесным ароматом свободы. Этим великолепным словом я мог сразить любого,

кто мне противоречил, я поставил это слово на службу своих желаний и своей силы. Я лепетал его на ухо своим засыпавшим возлюбленным, и оно же помогало мне бросать их. Я шептал его… Впрочем, довольно, я прихожу в возбуждение и теряю меру. Однако мне случалось пользоваться свободой бескорыстно, и даже, представьте себе мою наивность, два-три раза я по-настоящему выступал на защиту ее; конечно, я не шел на смерть ради свободы, но все же подвергался некоторым опасностям. Надо простить мне эту неосторожность, я не ведал, что творил. Я не знал, что свободу не уподобишь награде или знаку отличия, в честь которых пьют шампанское. Это и не лакомый подарок, вроде коробки дорогих конфет. О нет! Совсем наоборот — это повинность, изнурительный бег сколько хватит сил, и притом в одиночку. Ни шампанского, ни друзей, которые поднимают бокал, с нежностью глядя на тебя. Ты один в мрачном зале, один на скамье подсудимых перед судьями, и один должен отвечать перед самим собой или перед судом людским. В конце всякой свободы нас ждет кара; вот почему свобода — тяжелая ноша, особенно когда у человека лихорадка, или когда у него тяжело на душе, или когда он никого не любит.

Ах, дорогой мой, тому, кто одинок, у кого нет ни бога, ни господина, бремя дней ужасно. Значит, надо избрать себе господина, так как бог теперь не в моде. К тому же слово это потеряло смысл, и не стоит употреблять его, чтобы никого не шокировать. Но посмотрите на наших моралистов — это такие серьезные люди, они так любят своих ближних! А скажите, чем они отличаются от христиан? Только тем, что не читают проповедей в церквах. Как по-вашему, что им мешает обратиться к богу? Пожалуй, стыд, да, именно ложный стыд, боязнь суда людского. Они не хотят устраивать скандал и хранят свои чувства про себя. Я вот знал одного писателя-атеиста, который каждый вечер молился богу. Это не мешало ему расправляться с богом в своих книгах! Задавал он ему трепку, как сказал кто-то, не помню уж кто. Некий общественный деятель, человек свободомыслящий, которому я рассказал про этого писателя, всплеснул руками (впрочем, беззлобно). «Да для меня это не новость, — воскликнул со вздохом сей апостол, — они все такие!» По его словам, восемьдесят процентов наших писателей охотней прославляли бы имя божие в своих произведениях, если бы могли не подписывать их. Но они подписываются, по мнению моего знакомого,

из-за того, что любят себя и ничего не прославляют, из-за того, что ненавидят людей. Но так как они все же не могут отказаться от суждения о ближних, они наверстывают на вопросах морали. В общем, они дьявольски почитают добродетель. Странное, право, время! Неудивительно, что происходит смятение умов и что один из моих приятелей, который был атеистом, пока хранил безупречную верность супруге, вдруг обратился в христианство, когда совершил прелюбодеяние.

Ах, эти мелкие скрытники, комедианты, лицемеры — они, однако, очень трогательны! Поверьте, все трогательны, даже когда они разжигают в небесах пожар. Атеисты они или богомольцы, чтят ли они Москву или Бостон — все они христиане, так уж у них от отца к сыну идет. Но если нет больше отцовской власти, кто же будет хлопать по пальцам указкой? Люди свободны, пусть уж как-нибудь сами выворачиваются, но, так как они больше всего боятся свободы и кары, ожидающей их за эту свободу, они просят, чтоб их хлопали по пальцам, изобретают страшные указки, спешно воздвигают костры, чтобы заменить

ими церковь. Сущие Савонаролы,[30] право! Но они верят только в смертный грех и никогда не поверят в благодать. О благодати они, конечно, думают. Они мечтают о благодати, о всеобщем «да», о непосредственности, благоденствии и, как знать (ведь они сентиментальные), грезят о помолвках: невеста — молоденькая, свеженькая девушка, жених — статный мужчина, в честь обручения гремит музыка. А я не отличаюсь сентиментальностью, так знаете, о чем я мечтал? О том, чтобы предаваться любви душой и телом, день и ночь, в непрестанном объятии, в экстазе наслаждения — и пусть так будет пять лет, а потом — смерть. Увы!

Ну а раз нет целомудренных помолвок или непрестанной любви, пусть уж будет брак со всей его грубостью, супружеской властью и плеткой. Главное — чтобы все стало просто, как для ребенка, чтобы каждое действие предписывалось да чтобы добро и зло были определены произвольно, зато вполне очевидно. И я на это согласен, при всем моем сицилианстве и яванстве, а уж

---

[30] Примечания: 30

Савонарола, Джироламо (1452–1498) — настоятель монастыря доминиканцев во Флоренции; призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру и организовывал сожжение произведений искусства.

к христианам меня никак нельзя отнести, хотя к первому из них я полон самых добрых чувств. Но на парижских мостах я узнал, что и я боюсь свободы. Да здравствует же господин, каков бы он ни был, лишь бы он заменял закон небес! «Отче наш, временно находящийся на земле… О руководители наши, главари очаровательно строгие, вожаки жестокие и многолюбимые!..» Словом, как видите, главное в том, чтобы не быть свободным и в раскаянии своем повиноваться тому, кто хитрее тебя. И раз все мы будем виновны — вот вам и демократия. Да еще учтите, дорогой друг, ведь надо отомстить за то, что мы должны умирать одиноко. Умираем мы в одиночестве, а рабство — всеобщее состояние. Не только мы, но и другие будут порабощены одновременно с нами — вот что важно. Все наконец объединятся, правда стоя на коленях и склонив голову.

Значит, совсем неплохо в своей жизни уподобиться обществу, а разве для этого не нужно, чтобы общество походило на меня? Угрозы, позор, полиция — таковы священные основы этого сходства. Раз меня презирают, преследуют, принуждают, стало быть, я имею право развернуться вовсю, показать свое нутро, быть естественным. Вот почему, дорогой мой, торжественно воссла-

вив свободу, я втайне решил, что надо срочно отдать ее кому угодно. И всякий раз, как я могу это сделать, я проповедую в своей церкви — в «Мехико-Сити», призываю добрых людей покориться и смиренно добиваться удобного состояния рабства, называя его, однако, истинной свободой.

Но я еще не сошел с ума и прекрасно понимаю, что рабство не настанет завтра. Это одно из благодеяний, которые принесет нам будущее. А пока что мне надо приспособиться к настоящему и поискать хотя бы временный выход. Вот и пришлось найти способ распространить осуждение на всех, чтобы бремя его легче стало для меня самого. И я нашел способ. Будьте добры, приоткройте окно, здесь невероятно жарко. Широко не отворяйте, меня и знобит к тому же. Мысль моя очень проста и плодотворна. Как сделать, чтобы все поголовно окунулись в воду, а ты бы имел право сохнуть на солнышке? Не подняться ли на кафедру проповедника, как многие мои знаменитые современники, и не проклясть ли человечество? Нет, опасная штука! В один прекрасный день или ночь внезапно раздастся хохот. Приговор, который вы бросили другим, в конце концов полетит обратно, прямо в вашу физиономию и нанесет ей повреждения. Ну и как

же? — думаете вы. А вот вам гениальная догадка! Я открыл, что, пока еще не пришли властители и не принесли с собой розги, мы должны, как в свое время Коперник,[31] рассуждать от противного, чтобы восторжествовать. Раз мы не можем осуждать других без того, чтобы тотчас же не осудить самих себя, нужно сначала обвинить себя, и тогда получишь право осуждать других. Раз всякий судья приходит в конце концов к покаянию, надо идти в обратном направлении и начать с покаяния, а кончить осуждением. Вы следите за моей мыслью? Чтобы она стала вам еще яснее, сейчас расскажу, как я работаю.

Прежде всего я закрыл свою адвокатскую контору, уехал из Парижа, путешествовал, пытался устроиться под другим именем в другом городе, где у меня была бы достаточная практика. В мире немало таких городов, но случай, удобство, ирония и потребность в известном самобичевании заставили меня выбрать вот эту столицу воды и туманов, изрезанную каналами, загроможденную домами, место, куда съезжаются люди со

[31] Примечания: 31

Коперник, Николай (1473–1543) — польский автроном, создатель гелиоцентрической системы мира; совершил переворот в естествознании, отказавшись от веками принятого мнения о центральном положении Земли.

* * * * *

всех концов света. Я устроил свою контору в баре матросского района. Клиентура в портах весьма разнообразна. Бедняки не заглядывают в роскошные рестораны, а богачи хоть раз в жизни, как вы сами знаете, попадают к нам. Я главным образом подстерегаю какого-нибудь буржуа, заблудившегося буржуа, и уж на него-то я воздействую во всю мощь своего красноречия. Как виртуоз, извлекаю из него самые изысканные мелодии.

С некоторого времени я своей полезной профессией занимаюсь в «Мехико-Сити». Она состоит прежде всего в том, что я охотно совершаю публичную исповедь, в чем вы имели случай убедиться. Обвиняю себя напропалую. Это нетрудно, на меня нахлынули воспоминания. Но заметьте, никаких грубых приемов: я каюсь, но не бью себя кулаком в грудь. Нет, у меня гибкая лавировка, множество оттенков и отступлений — словом, я приноравливаюсь к слушателю, и уж тогда он сам подбавляет жару. То, что касается меня, я примешиваю к тому, что касается других. Я схватываю черты, общие для многих, жизненный опыт, выстраданный всеми, слабости, которые я разделяю с другими, правила хорошего тона, требования современного человека, свирепствующие во мне и в других. Из всего этого я создаю портрет,

обобщенный и безликий. Так сказать, личину, похожую на карнавальные маски, вернее, на упрощенные изображения, увидев которые каждый думает: «Постой, где же я встречал этого типа?» Когда портрет закончен, как вот нынче вечером, я показываю его и горестно восклицаю: «Увы, вот я каков!» Обвинительный акт завершен. Но тут же портрет, который я протягиваю моим современникам, становится зеркалом.

Посыпав главу пеплом, неспешно вырываю на ней волосы и, расцарапав себе ногтями лицо, сохраняя, однако, пронзительность взгляда, стою я перед всем человечеством, перечисляя свои позорные деяния, не теряя из виду впечатление, какое я произвел, и говорю: «Я был последним негодяем!» А потом незаметно перехожу в своей речи с «я» на «мы». Когда же я говорю: «Вот каковы мы с вами!» — дело сделано, я уже могу резать им в глаза правду. Я, разумеется, такой же, как они, мы варимся в одном котле. У меня, однако, то преимущество, что я это знаю, и это дает мне право говорить, не стесняясь. Я уверен — вы видите это преимущество. Чем больше я обвиняю себя, тем больше имею право осуждать вас. А еще лучше — подстрекать вас к осуждению самого себя, ведь это для меня такое облегчение! Ах, до-

рогой мой! Какие мы странные, жалкие создания! Ведь стоит нам приглядеться к своей жизни, мы найдем достаточно оснований удивляться себе и стыдиться своих поступков. Попробуйте и будьте уверены, вашу исповедь я выслушаю с глубоким братским сочувствием.

Не смейтесь! Да, вы клиент трудный, я это сразу увидел. Но вы придете к исповеди. Это неизбежно. Другие в большинстве своем скорее чувствительны, чем умны, их сразу сбиваешь с толку. С умными людьми надо набраться терпения. Им нужно объяснить свой метод. Они не забудут его, они станут размышлять. И рано или поздно шутки ради, а может быть, в час душевного смятения они все выложат. Вы не только умны, вы, как видно, человек бывалый. Признайтесь, однако, что сегодня вы менее довольны собою, чем пять дней назад. Буду теперь ждать вашего письма или вашего приезда. Ведь вы приедете, я уверен. И найдете, что я не переменился. А почему мне меняться, раз я обрел счастье, соответствующее мне? Я вполне примирился со своей двойственностью, вместо того чтобы приходить из-за нее в отчаяние. Я свыкся с нею и полагаю, что она то самое удобное состояние, которого я искал всю жизнь. В сущности, я неверно вам сказал, что

важнее всего избегнуть осуждения. Нет, самое главное — все себе позволять, но время от времени вопиять о своей подлости. Я теперь опять все себе позволяю, но уже не слышу смеха за своей спиной. Я не изменил своего образа жизни, я продолжаю любить самого себя и пользоваться другими. Однако я исповедуюсь в своих грехах, и благодаря этому мне легче все начинать сызнова и наслаждаться вдвойне — во-первых, угождая своей натуре, а во-вторых, познавая прелесть раскаяния.

С тех пор как я нашел для себя выход, я пустился во все тяжкие, тут всё: и женщины, и гордыня, и тоска, и злопамятство, и даже лихорадка, которая, как я с радостью чувствую в эту минуту, все усиливается. Наконец-то пришло мое царство — и теперь уж навсегда. Я опять нашел вершину, на которую мне можно взобраться одному и с нее судить всех и вся. Порой, но очень редко, в какую-нибудь прекрасную, поистине прекрасную ночь, я слышу отдаленный смех и вновь меня охватывает сомнение. Но я живо опомнюсь, обрушу на все живое и на весь мир бремя моего собственного уродства, и опять становлюсь молодцом.

Итак, буду терпеливо ждать приятной встречи с вами в «Мехико-Сити». А сейчас снимите с меня

это одеяло, я задыхаюсь. Вы приедете, верно? Я в знак привязанности к вам даже продемонстрирую некоторые подробности моей техники. Вы увидите, как целую ночь я доказываю своим собеседникам, что они негодяи. Кстати сказать, я нынче вечером опять возьмусь за дело. Не могу без этого обойтись, не хочу лишать себя тех минут, когда один из них, с помощью алкоголя, конечно, рухнет под тяжестью раскаяния и примется бить себя кулаком в грудь. И тогда я поднимаюсь, дорогой, поднимаюсь высоко, дышу свободно, стою на горе и перед глазами моими простирается равнина. Как упоительно чувствовать себя богом-отцом и раздавать непререкаемые удостоверения о дурной жизни и безнравственности. Я царю среди моих падших ангелов на вершине голландского неба и вижу, как поднимаются ко мне, выходя из туманов и воды, легионы явившихся на Страшный суд. Они поднимаются медленно, но вот уже приближается первый из них. Лицо у него растерянное, наполовину прикрытое рукой, и я читаю на нем печаль о всеобщей участи и горькое отчаяние, ибо он не может избегнуть ее. А я — я жалею, но не даю отпущения грехов, я понимаю, но не прощаю, и, главное, ах, я чувствую наконец, что

мне поклоняются.

Ну да, конечно, я волнуюсь, как же мне лежать спокойно? Мне надо подняться выше вас, и мои мысли возносят меня. В те ночи, вернее, в рассветные часы, так как падение происходит на заре, я выхожу на улицу и стремительным шагом иду вдоль каналов. В побледневшем небе тоньше становятся слоистые скопления перьев, голуби поднимаются немного выше, над крышами брезжит розовый свет, рождается новый день творения моего. На Дамраке в сыром воздухе дребезжит звонок первого трамвая, возвещая пробуждение жизни на краю Европы, в которой в это самое время сотни миллионов людей, моих подданных, с трудом просыпаются, чувствуя горечь во рту, и встают, чтобы идти туда, где их ждет безрадостный труд. А я парю тогда в мыслях над всем этим континентом, который неведомо для себя подвластен мне, я впиваю мутный, как абсент, свет нарождающегося дня, и, опьянев от злобных своих слов, я счастлив, — счастлив, говорю я вам, я запрещаю вам сомневаться, что я счастлив, я смертельно счастлив! О солнце, песчаные берега морей и океанов и острова, овеваемые пассатами, молодость, воспоминания о которой приводят в отчаяние.

Извините, я лягу опять. Боюсь, что очень взволновался. Но я все-таки не плачу. Иной раз совсем растеряешься, сомневаешься в самом очевидном, даже когда откроешь секрет счастливой жизни. Тот выход, какой я нашел, конечно, не назовешь идеальным. Но когда тебе опротивела твоя жизнь, когда знаешь, что надо жить по-другому, выбора у тебя нет, не правда ли? Что сделать, чтобы стать другим? Невозможно это. Надо бы уйти от своего «я», забыть о себе ради кого-нибудь, хотя бы раз, только один раз. Но как это сделать? Не вините меня чересчур строго. Я как тот старик нищий, который все не выпускал моей руки, получив от меня милостыню на террасе кафе. «Ах, не сердитесь, — говорил он, — не потому до этого доходишь, что ты плохой человек, да вот свет в глазах померк». Да, померк у нас в глазах свет, погасли утренние зори, утратили мы святую невинность, которой прощаются ее грехи.

Смотрите, снег пошел! О, надо мне пойти прогуляться. Спящий Амстердам, белый его покров в ночи, мрачная чернота каналов под заснеженными мостиками, пустынные улицы, мои приглушенные шаги… Очень хороша вся эта мимолетная чистота — ведь завтра будет грязь. Видите, какие огромные белые хлопья распуши-

лись за окнами. Это, конечно, голуби. Милые, они решились наконец спуститься! Покрыли и воду и крыши густым слоем белых перьев, трепещут у каждого окна. Какое нашествие! Будем надеяться, что они принесут нам благую весть. Все, все будут спасены, да, а не только избранные, богатства и бремя труда разделят между всеми, и с нынешнего дня вы каждую ночь будете спать на полу ради меня. Полная гармония, чего там! Признайтесь, однако, что вы обомлеете, если с неба спустится колесница и я вознесусь на ней или вот снег вдруг запылает огнем. Вы не верите в чудеса? Я тоже. Но мне все же необходимо пройтись.

Хорошо, хорошо. Я буду лежать спокойно, не тревожьтесь. Да вы и не очень-то доверяйте моему волнению, моему умилению и бредовым моим речам. Они целенаправленны. Погодите, теперь вы расскажете мне о себе, и тогда я узнаю, достиг ли я своей страстной исповедью хотя бы одной из своих целей. Я все надеюсь, что когда-нибудь моим собеседником окажется полицейский и он арестует меня за кражу «Неподкупных судей». За все остальное никто не может меня арестовать, верно? Но эта кража подпадает под действие закона, и я уж постарался, чтобы меня сочли сообщником: я укрываю у себя драгоценную

картину и показываю ее первому встречному. Так вы, значит, можете меня арестовать — это будет хорошее начало. Может быть, займутся потом и всем остальным, может быть, отрубят мне голову, и я избавлюсь от страха смерти, буду спасен. Вы поднимете над собравшейся толпою зрителей мою еще не тронутую тлением голову, чтобы они ее узнали, и вновь я возвышусь над ними, как образцовый преступник. Все будет кончено, я завершу потихоньку свой путь лже-пророка, вопиющего в пустыне и не желающего выйти из нее.

Но вы, конечно, не полицейский — это было бы слишком просто. Да что вы?.. Адвокат? А знаете, я так и думал. Стало быть, странная симпатия, которую я почувствовал к вам, имела свои основания. Вы занимаетесь в Париже прекрасной деятельностью. Я так и знал, что мы с вами из одного племени. Ведь мы все похожи друг на друга, говорим без умолку, в сущности не обращаясь ни к кому, и всегда сталкиваемся с одними и теми же вопросами, хотя и знаем заранее ответы на них. Ну, расскажите мне, прошу вас, что случилось с вами однажды вечером на набережной Сены и как вам удалось никогда не рисковать своей жизнью. Произнесите те слова, которые уже

много лет не перестают звучать по ночам в моих ушах и которые я произношу наконец вашими устами: «Девушка, ах девушка! Кинься еще раз в воду, чтобы вторично мне выпала возможность спасти нас с тобой обоих!» Вторично? Ох, какая опрометчивость! Подумайте, дорогой мэтр, а вдруг нас поймают на слове? Выполняйте обещание! Бр-р! Вода такая холодная! Да нет, можно не беспокоиться. Теперь уж поздно, и всегда будет поздно. К счастью!

Albert[Camus Albert]**Camus**